
Егор Ралович
Пекарня на краю зимы

Егор Ралович

Пекарня на краю зимы

«Автор»
2026

Ралович Е.

Пекарня на краю зимы / Е. Ралович — «Автор», 2026

Медуница – последний город перед Белыми пустошами. В пекарне «Тёплый угол» сто сорок лет пекут летний хлеб из солнечной ржи на старой закваске, которую в семье зовут Матушкой. Съешь ломоть на рассвете – и проживёшь ещё один день лета: руки не мёрзнут, в доме пахнет сеном, на подоконнике распускается цветок.Полгода назад умерла бабушка пекаря Луки Сеянова, и его хлеб стал слабее: лета от него хватает лишь до обеда. Лука думает, что дело в руках. Он не знает, что бабушка не успела рассказать ему главное.В эту зиму снег выпадает слишком рано, а весна не приходит ни в марте, ни в апреле. Солнечной муки всё меньше, у пекарни выстраиваются очереди, на людей нападает инейная хворь. Чтобы спасти город, неловкому и немногословному Луке придётся найти вырванные страницы бабушкиной тетради, подняться на Полуденный холм и встретить ту, кто каждую зиму спускается с Белой гряды. Добрая история о хлебе, памяти и тепле, которое отдаёшь другим.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Хлеб на рассвете 5
Глава 2. Печница 10
Глава 3. Девочка с севера 15
Глава 4. Городской голова 20
Глава 5. Мельница на Полуденном холме 25
Глава 6. Первый снег 30
Глава 7. Ярмарка Солнцеворота 36
Глава 8. Ночь, когда никто не пришёл 41
Глава 9. Март без капели 46
Глава 10. Очередь 51
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Егор Ралович
Пекарня на краю зимы

Глава 1. Хлеб на рассвете

В Медунице говорили, что утро начинается не с петухов, а с Калачной улицы. Петух на ратуше был медный и кричать не умел, живые петухи по осени ленились, а вот запах из «Тёплого угла» поднимался над крышами раньше всех и в любую погоду. Сначала пахло дымом берёзовых поленьев, потом горячим кирпичом, потом тестом, которое всю ночь дышало под полотном, а ближе к рассвету – тем, ради чего люди и вставали затемно: печёной рожью, мёдом и чем-то таким, чему никто в городе не мог подобрать слова. Матрёна Ивановна Ключникова, соседка через забор, называла это запахом сенокоса. Отец Никодим говорил, что так пахнет Петров день после обедни. Мальчишки с Гончарного проулка утверждали, что так пахнет речка, когда в неё прыгаешь с мостков в самую жару.

Лука Сеянов ничего не утверждал. Он просто вставал в три часа ночи, как вставал последние двадцать лет, и шёл к печи.

В конце октября в три часа ночи на Калачной было так темно, что окно казалось нарисованным сажей. Лука зажёг лампу, надел фартук, ещё бабушкин, с пятном от смородины на кармане, которое не отстирывалось лет пятнадцать, и снял полотно с дежи. Тесто поднялось хорошо. Он потрогал его тыльной стороной пальцев, как учила бабушка, – ладонью нельзя, ладонь врёт, она тёплая от работы, – и тесто ответило ему упругой, сонной мягкостью.

– Доброе утро, – сказал он тесту.

Тесто промолчало, как и положено тесту.

На полке у печи, на почётном месте между солонкой и часами, стояла глиняная корчага, тёмная от времени, с отбитым краешком и с крышкой, перевязанной льняной тесёмкой. В корчаге жила Матушка. Так в семье Сеяновых называли закваску, которой было, если верить семейным записям, сто сорок лет без малого. Её завела прабабка прабабки, Агафья, основательница пекарни, и с тех пор Матушку ни разу не давали заморить. Её кормили каждый вечер: горсть солнечной муки, кружка тёплой воды из Ясного ключа, ложка липового мёда. Её брали в дорогу, когда кто-то из Сеяновых уезжал. Её прятали в погреб при пожаре тридцать лет назад. Однажды, ещё при бабушкином деде, корчагу украл заезжий купец, и весь город три дня искал его по дорогам, а когда нашёл, купец сам отдал корчагу и сказал, что больше никогда в жизни не возьмёт чужого, потому что всю дорогу ему снилось, будто он стоит посреди сжатого поля, а солнце смотрит на него с укором.

Лука развязал тесёмку и заглянул внутрь. Матушка лежала спокойно, серо-золотая, в мелких пузырях, и пахла кисло и тепло.

– Поела? – спросил он. – Вижу, поела.

Это тоже было от бабушки – разговаривать. Ульяна Сеянова разговаривала со всем, что было в пекарне: с тестом, с печью, с мешками, с весами, с кошкой, которая жила у них, пока не умерла от старости, с мышью, которая жила у них, пока её не съела кошка. Лука в детстве думал, что бабушка немного не в себе. Потом думал, что это такая пекарская примета. А когда бабушки не стало, полгода назад, в апреле, в тёплую мокрую неделю, когда по Калачной текли ручьи, он понял, что разговаривает со всем этим сам. Просто потому, что в пекарне стало слишком тихо.

Он вывалил тесто на стол, присыпанный мукой, и начал делить. Солнечная мука от деда Овсея была не белой и не серой, а светлой, как спелый овёс, и если присмотреться, в ней поблёскивали золотые точки, будто кто-то растёр в пыль осенний лист. Буханки Лука

формовал быстро, не думая, руками, которые знали каждое движение лучше головы: подвернуть, прижать, повернуть, подвернуть снова, натянуть верх, чтобы тесто стало гладким, как щека. Двадцать четыре круглых каравая, шестнадцать длинных, восемь маленьких, для детей, с косичкой сверху. Это был летний хлеб. Обычный, ржано-пшеничный, Лука пёк потом, во вторую закладку, его брали все и каждый день, он был вкусный и дешёвый. А летний пекли только на рассвете и только из солнечной муки, и стоил он дороже, и брали его не каждый.

Печь к этому времени прогорела. Лука выгреб угли, поводил по поду мокрым помелом, послушал, как зашипел кирпич. Бабушка говорила, что печь должна сказать «ш-ш-ш», а не «пш-ш», иначе хлеб подгорит снизу. Печь сказала правильно. Он сажал хлеб деревянной лопатой, длинной, отполированной ладонями до блеска, по одному, ряд за рядом, и закрывал заслонку, и только тогда садился на табурет у печи и выдыхал.

Это был самый тихий час. Хлеб пёкся, печь гудела, за окном начинало сереть. Лука сидел, сцепив обожжённые руки на коленях, и смотрел на заслонку. Руки у него были в старых ожогах до самых локтей, белые полосы и пятна, как у всех пекарей, которые сажают хлеб лопатой и вынимают голыми руками, когда лопата не достаёт. Бабушка мазала ему руки гусиным жиром и ругала. Теперь никто не ругал.

– Не дотянул вчера, – сказал он печи. – Опять.

Печь гудела.

Он и сам не знал, когда это началось. Наверное, ещё весной, сразу после похорон, но тогда ему было не до того, он пёк как во сне и не помнил потом, что продавал и кому. А летом летний хлеб никто не проверяет: летом и так лето. Первой заметила Матрёна Ивановна, в сентябре. Пришла утром, купила каравай, как всегда, а вечером постучала в окно и сказала, глядя в сторону:

– Лукаша, ты не сердись. Только у меня к обеду кончилось.

– Что кончилось? – не понял он.

– Да лето же. Съела утром ломоть, в доме, как водится, сеном запахло, герань на окне раскрылась, всё хорошо. А к обеду – как отрезало. Сидела, мёрзла. Я ведь не жалуюсь, мне и так хорошо. Только при Ульяне до ночи хватало. Я думала, может, ты знаешь.

Он не знал. Он стал спрашивать других, осторожно, будто между прочим, и оказалось, что у всех то же самое. Летний день от его хлеба длился до полудня, у кого-то до двух часов, у отца Никодима, который ел медленно, до самой вечерни. Но не до ночи. Бабушкин хлеб давал целый день, от рассвета до заката и даже немного дальше. Его хлеб давал полдня.

Он перепробовал всё. Брал муку из другого мешка. Ходил к Ясному ключу сам, а не посылал мальчишку. Кормил Матушку дважды в день. Пёк дольше, пёк короче, поднимал тесто в тепле, поднимал в холоде. Полдня. Он перечитал свою тетрадку, куда записывал всё, чему учила бабушка, с двенадцати лет, корявым почерком, с кляксами, – там ничего не было про то, как сделать день длиннее. Там были пропорции, время, температура печи, приговорки, которые надо было говорить при замесе, советы, как отличить хорошую муку от плохой по звуку, если потереть щепоть между пальцами. Всё это он делал. И всё равно – полдня.

Значит, дело в руках, думал он. Бабушкины руки знали что-то, чего не знают мои. Может, это приходит с годами. Может, это вообще не передаётся, а у каждого Сеянова своё, и у меня – вот такое. Половинчатое.

Он вздохнул и встал. Пора было смотреть.

Заслонка отошла с привычным скрежетом, и из печи на него выдохнуло жаром. Хлеб был готов: тёмно-золотой, с трещинками по бокам, с блестящим верхом. Лука вынимал его лопатой и ставил на решётки у окна, и пекарня наполнялась тем самым запахом. Сенокос, сказала бы Матрёна Ивановна. Он постучал по донцу каждого каравая костяшкой пальца: глухо, как надо. Последнюю буханку он вынул ровно тогда, когда за окном, над крышей дома напротив,

показался край солнца. Бабушка была в этом строга: летний хлеб надо вынуть на рассвете, ни раньше, ни позже. Раньше – будет сырой внутри и останется ночным. Позже – уйдёт утро.

– Ну вот, – сказал Лука. – С добрым утром.

В дверь уже стучали.

Первой, конечно, была Матрёна Ивановна. Она всегда была первой, и Лука подозревал, что она ложится спать одетой, чтобы не тратить время. Маленькая, круглая, в пуховом платке поверх другого платка, с корзинкой на локте и с лицом, на котором одновременно были написаны любопытство, жалость и твёрдая решимость рассказать всем всё.

– Утро доброе, Лукаша. Живой? Глаза красные. Опять не спал?

– Спал.

– Врёшь. Ульяна тоже говорила «спала», а у самой под глазами синь, как у покойника. Давай мне каравай. И маленький, с косичкой, для Митьки Гончарова, он мне вчера дров наколол. Ох, пахнет-то как. Пахнет как при ней. Ты не думай, я к обеду не в обиде. Я тебе просто сказала тогда, по-соседски.

– Я помню, – сказал Лука.

Он завернул ей хлеб в бумагу. Она расплатилась медью, отсчитывая монеты на ладони, сбиваясь и начиная заново, потом всё-таки не ушла, а осталась у прилавка, как оставалась всегда.

– А у Пальчикова, слыхал, опять бумаги. Велел всем трубы чистить до Покрова, а то, говорит, пожары. А сам свою трубу не чистил с тех пор, как жену похоронил, это мне его кухарка сказала. И ещё, говорят, с севера никто не едет. Хуторские всегда к ярмарке едут, а нынче никого. Ни саней, ни подвод. Я Никодиму говорю: может, дороги развезло. А он говорит: дороги уже подмёрзли. Вот и думай.

– Может, рано ещё, – сказал Лука.

– Может. А может, и нет. – Матрёна Ивановна наконец подхватила корзинку. – Ты ешь сам-то. Себе оставь, слышишь? Пекарь, который не ест своего хлеба, это как поп, который не молится. Ульяна так говорила.

Она ушла, и тут же вошли двое мальчишек с Гончарного проулка, Митька и Сенька, в отцовских тулупах, подвязанных верёвкой. Они пришли не покупать, а нюхать. Так было всегда, и бабушка всегда давала им по горбушке от обычного хлеба, вчерашнего, но тёплого, подогретого на поду. Лука тоже давал. Мальчишки грызли горбушки, стоя у порога, и смотрели на решётки с летним хлебом с таким выражением, с каким нищий смотрит в окно богатого дома.

– Дядя Лука, – сказал Сенька с полным ртом. – А правда, что если летнего хлеба целую буханку съесть, то будет лето целую неделю?

– Неправда, – сказал Лука. – Будет живот болеть целую неделю.

– А если по ломтику, но каждый день?

– Тогда каждый день будет немножко лета.

– А если зимой съесть?

– Зимой и едят. Летом он никому не нужен.

Сенька подумал.

– А если вы его не испечёте?

– Как это – не испеку?

– Ну, заболеете. Или помрёте. Как бабка Ульяна.

Митька толкнул его локтем. Сенька покраснел, но смотрел упрямо: ему правда надо было знать.

Лука помолчал. Потом отломил от маленькой буханки с косичкой, которую собирался оставить себе, два крошечных кусочка и дал мальчишкам.

– Не помру, – сказал он. – Идите в школу.

Они взяли кусочки двумя пальцами, как берут святое, положили в рот и замерли. Лука видел это сотни раз и всё равно каждый раз смотрел. Сначала у них разошлись плечи, которые были подняты к ушам от утреннего холода. Потом покраснели уши. Потом Сенька засмеялся – просто так, без причины, тем смехом, каким смеются дети в июле на речке. Митька зажмурился. От их тулупов, Лука готов был поклясться, пахнуло мокрой травой.

– Ух, – сказал Митька.

– Идите, – повторил Лука. – А то опоздаете.

Они ушли, толкаясь, и он видел в окно, как они бегут по Калачной, расстегнув тулупы, и как Сенька на бегу пытается сорвать с забора сухой стебель, наверное, думает, что это колосок.

До полудня, подумал Лука. Им хватит до полудня.

Утро шло своим чередом. Пришёл отец Никодим, большой, с бородой, в которой застряли стружки: он с юности был столяром, и даже став священником, не бросил верстака. Он взял два каравая, один для себя, другой для старухи Пелагеи, которая уже не вставала, и, как всегда, спросил Луку, не нужно ли ему чего.

– Ничего не нужно, батюшка.

– Это хорошо, – сказал отец Никодим. – А то вот мне всё нужно. Колоколу язык надо перевязать, кожа сопрела. Крыльцо подгнило. Пелагее дров. Пальчикову терпения. Себе – смирения. Тебе, Лука, я бы людей пожелал. Сидишь тут один, как сыч.

– У меня тесто.

– Тесто – это хорошо, – повторил отец Никодим и внимательно на него посмотрел. – Только оно тебе ответа не даст. Приходи как-нибудь вечером. Не на службу, просто так. Самовар поставлю.

– Приду, – сказал Лука, как говорил уже десять раз.

Потом пришла учительница, потом приказчик из скобяной лавки, потом жена кузнеца, потом двое хмурых мужиков с лесопилки, которые всегда брали один каравай на двоих и делили его ножом у порога, чтобы было честно. К десяти утра летний хлеб кончился. Лука выставил обычный, и дальше пошло проще: обычный хлеб был просто хлебом, и люди брали его, не глядя Луке в глаза с тем выражением, которое он ненавидел больше всего, – с надеждой.

В полдень он закрыл лавку на обед. Пообедал горбушкой с солью и луковицей, сидя на табурете у печи. Летний хлеб себе так и не оставил. Матрёна Ивановна была права, но ему не хотелось его есть. Он боялся, что съест – и узнает, как это: когда лето кончается в полдень. Пусть уж лучше не начинается.

После обеда была вторая закладка, обычный хлеб на завтра, потом Матушку надо было кормить, потом заводить тесто на следующий рассвет. Он делал всё это, и день проходил, как проходили все дни с апреля. Солнце за окном было низким, жёлтым, но холодным: октябрьское солнце, которое светит, но не греет. Под вечер небо над рекой стало стеклянным, зеленоватым, и ветер принёс запах снега, хотя снега ещё не было.

Под вечер, около пяти, Матрёна Ивановна снова постучала в окно. Лука открыл форточку.

– До двух, – сказала она. – Сегодня до двух хватило. Это ничего, Лукаша. Это лучше, чем вчера.

– Вчера было до часу?

– Вчера до половины первого. – Она вздохнула. – Я за тобой, считай, учёт веду. Ты не обижайся. Мне просто интересно. И ещё. Если хочешь знать, у Ульяны тоже не сразу целый день выходил. Я помню, она молодая была, после мужа, после войны, когда твою мать растила. Тоже ходила к нам и спрашивала: до скольких? А потом – раз, и до ночи. Так что, может, ещё придёт.

– Почему пришло? – спросил Лука. – Она не говорила?

Матрёна Ивановна задумалась, подняв глаза к тёмному небу.

– Не говорила. Сказала только: «Я поняла, кому я пеку». Я тогда не поняла, к чему это. Да и сейчас не понимаю. Спокойной ночи, Лукаша.

Форточка закрылась. Лука постоял у окна, глядя, как она идёт к себе через двор, держась за забор.

Кому я пеку, подумал он. Людям. Кому же ещё.

Вечером, когда тесто на завтра было замешано и укрыто, когда Матушка поела и успокоилась, когда печь остыла до того ровного тёплого состояния, в котором её можно было оставить до ночи, Лука сел за стол у окна, зажёг лампу и открыл свою тетрадку. Тетрадка была толстая, разбухшая, с загнутыми углами, с вклеенными листками. На первой странице детским почерком было написано: «Лука Сеянов. Хлеб. Начато в год, когда мне двенадцать». Дальше шли записи, сначала крупные и кривые, потом всё ровнее. «Тесто трогать тыльной стороной». «Печь должна сказать ш-ш-ш». «Матушку кормить на закате, не на ночь, а то она плохо спит». «Солнечную муку не просеивать через частое сито, а то золото уйдёт». «Летний хлеб вынимать на рассвете, ни раньше, ни позже». «При замесе говорить: расти, как рожь растёт, грей, как солнце греет». И бабушкиной рукой, сбоку, на полях, красными чернилами: «И думай, кому». Это он раньше не замечал. Или замечал, но не думал. Бабушка вообще любила писать на полях.

Он долго смотрел на эту строчку. Потом обмакнул перо и записал под последней своей записью, сделанной вчера:

«Двадцать девятое октября. Летний хлеб. Матрёне хватило до двух часов. Мальчишкам, наверно, до полудня. Опять не дотянул. Бабушка говорила: думай, кому. Думаю. Не понимаю».

Он закрыл тетрадку, погасил лампу и ещё немного посидел в темноте. За окном завыл ветер, первый настоящий ноябрьский ветер, хотя до ноября было ещё два дня. Ставня на соседском доме хлопнула. Где-то далеко, за рекой, на Полуденном холме, скрипнула мельница деда Овсея, хотя ветер был не в ту сторону.

Лука лёг на лавку у печи, укрылся бабушкиным лоскутным одеялом, которое пахло ещё ею, мятой и мукой, и сразу уснул. Ему приснилось, что он стоит посреди поля, рожь вокруг по пояс, и солнце стоит в зените, и кто-то зовёт его с края поля, а он никак не может разглядеть, кто. Голос был женский, тихий, и в нём что-то хрустело, как наст под ногой в мартовское утро.

Он проснулся в три часа ночи, как всегда, и сразу забыл сон. Зажёг лампу, надел фартук и пошёл к печи.

Глава 2. Печница

Печь задымила в первый день ноября, в самый неподходящий час – в половине пятого утра, когда тесто было разделено, а хлеб стоял на расстойке под полотном.

Сначала Лука не понял, что происходит. Он растопил её как обычно, берёзой, и дрова занялись, затрещали, и тяга пошла. А потом что-то в глубине печи вздохнуло, будто большой зверь перевернулся во сне, и из-под заслонки, из щелей у шестка, отовсюду сразу поползли серые ленты дыма. Они поднимались к потолку, стелились по балкам и медленно опускались, пока не заполнили пекарню до самого стола. Лука распахнул дверь, распахнул окно, выскочил на мороз с полотенцем на лице и кашлял, глядя, как из трубы на крыше поднимается не столб, а жалкая, разорванная ветром струйка.

– Ну что ты, – сказал он печи, когда вернулся. – Что ты, а? Сто лет стояла.

Печь, прокашлявшись, загудела как ни в чём не бывало. Дым понемногу вытянуло в дверь. Хлеб, слава богу, не пострадал: Лука успел вынести решётки с расстойкой в сени. Он посадил его, вынул на рассвете, продал, а в обед, едва закрыв лавку, накинул тулуп и пошёл на другой конец города, к Кривому переулку, где жила Агния Вересова.

В Медунице было три печника. Двое были старики, братья Сычёвы, они клали печи ещё при прежнем голове, и печи у них выходили крепкие, но дымные, как их хозяева. А третьей была Агния. Над ней сначала смеялись: девка, а туда же, в сажу. Потом перестали. Агния клала печи так, что дрова в них горели в полтора раза дольше, а тепло держалось до утра. Она чинила то, за что Сычёвы не брались, лазила в трубы, которые считались проклятыми, и однажды, говорили, вытащила из дымохода в доме купца Горшенина гнездо совы вместе с совой, живой и очень недовольной. С тех пор над ней не смеялись. С тех пор её звали.

Дом у неё был маленький, кривой, как и переулок, но печная труба на крыше стояла прямая, как свеча, и из неё шёл ровный, весёлый дым. Лука постучал. Никто не ответил. Он постучал ещё. Дверь распахнулась так резко, что он отшатнулся.

– Сеянов, – сказала Агния. – Я так и знала.

Она была в мужских штанах, заправленных в валенки, в рубахе с закатанными рукавами и в кожаном фартуке, на котором углём кто-то – наверное, она сама – нарисовал смешную рожицу. Волосы, тёмные, густые, были заплетены в одну тугую косу и подвёрнуты под платок, чтобы не мешали. На щеке была сажа. На руках была сажа. Лука подумал, что сажа у неё, наверное, даже на ресницах, просто не видно.

– Что знала? – спросил он.

– Что ты придёшь. Я твою трубу с утра видела. С моего чердака видно всю Калачную. Дым у тебя шёл, как у пьяного извозчика из носа. Входи, не стой.

Он вошёл. В доме было тепло, тесно и пахло глиной. На столе стояли миски с замешанным раствором, лежали мастерки, отвесы, какой-то чертёж на обёрточной бумаге. На лавке у печи спала рыжая кошка. Печь у Агнии была особенная: невысокая, с лежанкой, облицованная зелёными изразцами, на каждом из которых была нарисована птица.

– Это ты сама? – спросил Лука, глядя на изразцы. Он был здесь первый раз.

– Изразцы не сама, изразцы от деда. А печь сама. Садись, я сейчас.

Он сел на табурет. Агния вытерла руки о фартук, сняла его, повесила на гвоздь, налила из чугунка в две кружки горячего травяного взвара, одну сунула ему.

– Пей. Теперь рассказывай, что ты с ней сделал.

– Ничего не сделал.

– Все так говорят. Ничего не сделал, а потом выясняется, что трубу кошкой чистил.

– У меня нет кошки.

– Вот видишь. – Она села напротив, верхом на стул, сложила руки на спинке. – Сначала тянула, потом вздохнула и пошёл дым из всех щелей?

Лука удивился.

– Откуда знаешь?

– Оттуда. Это не труба, это внутри. Ульяна мне говорила, что у вас в печи с прошлой зимы что-то стонет. Я обещала посмотреть, да не успела. А потом ты меня не звал.

– Я не знал.

– Знаю, что не знал. – Агния помолчала. – Я на похоронах хотела подойти. Не подошла. Там все к тебе лезли, а ты стоял, как столб. Я подумала: потом. А потом всё как-то.

– Ничего, – сказал Лука.

– Ничего, – передразнила она. – Ладно. Допивай. Пойдём твою печь лечить.

Она собрала инструменты в мешок быстро, не глядя, как он сам формовал хлеб, надела тулуп, мужской, огромный, который был ей велик в плечах, и они пошли через весь город обратно, на Калачную. Шли молча. Агния шагала широко, по-мужски, и Лука, хоть и был выше её на голову, едва поспевал. На мосту Трёх Лип ветер дул такой, что пришлось держаться за перила. Липы, старые, чёрные, стояли голые и скрипели. Река под мостом была тёмная, тяжёлая, и у берегов уже схватывалась тонкой ледяной коркой.

– Рано, – сказала Агния, глядя вниз. – Ледок рано. В прошлом году в конце ноября встала.

– Матрёна говорит, с севера никто не едет.

– Мне тоже говорили. Сычёв-старший с утра на рынке ворчал. Хуторские у него печи заказывали, задаток дали, обещали к Покрову приехать за изразцами. Не приехали.

Больше они про это не говорили.

В пекарне Агния сначала долго ходила вокруг печи, как лекарь вокруг больного. Трогала кирпичи ладонью, стучала по ним костяшками, прикладывала ухо. Лука стоял в стороне и чувствовал себя странно, будто это не печь осматривают, а его самого.

– Чего стоишь? – сказала Агния, не оборачиваясь. – Растапливай. Мне надо, чтоб она задышала.

Он растопил. Агния сидела на корточках у устья и смотрела на огонь. Потом полезла рукой куда-то сбоку, в щель между печью и стеной, где Лука никогда в жизни не был, и что-то там нащупала.

– Ага, – сказала она. – Вот ты где, голубчик.

– Что?

– Боров. Ход дымовой, который в трубу идёт. Там кирпич просел. Один. Старый, раньше всех клали, наверно, ещё при вашей Агафье. Он держался-держался, а этим летом от жары и от того, что ты топил, как каторжник, сел. Дым упирается и идёт назад. Надо лезть.

– Куда лезть?

– На крышу, Сеянов. В трубу. Ты что, никогда в трубу не лазил?

– Нет.

– Вот и сиди тогда. Держи верёвку.

Она полезла на крышу по приставной лестнице, с мешком за спиной, ловко, как кошка, и Лука держал внизу лестницу, а потом верёвку, которую она спустила ему, обвязавшись другим концом за пояс, и слушал, как она ругается в трубе. Ругалась она изобретательно и без повторов. Через полчаса из устья печи на под посыпалась сажа, потом обломки раствора, потом что-то стукнуло. Ещё через полчаса Агния спустилась, вся чёрная, как трубочист, и только глаза блестели, и зубы, когда она улыбнулась.

– Достала.

Она протянула ему кирпич. Старый, тёмный, с обколотыми углами, тяжёлый, как камень. Лука взял его и чуть не уронил: кирпич был тёплый, хотя печь сейчас почти не топилась, а наверху, где Агния его достала, был ветер.

– Переверни, – сказала она.

Он перевернул. На нижней стороне кирпича, той, что всегда была скрыта в кладке, было вырезано что-то. Лука поднёс его к окну. Колосок, грубый, но узнаваемый, и под ним, глубоко процарапанными буквами, одно слово.

«Помни».

– Это что? – спросил он.

– Это я у тебя хотела спросить. – Агния вытерла лицо рукавом, размазав сажу ещё больше. – Я такие видела. Не много. Два раза. Один раз у Горшениных, в старой печи, которую их прадед клал. Там был колосок и «Грей». Второй – в церкви, у отца Никодима, в подпечке, там «Не бойся». Я думала, это мастер какой-то так метил свою работу. Тот, кто сто лет назад по городу печи клал.

– А «Помни» – что помнить?

– Не знаю, Сеянов. Твоя печь, тебе и знать.

Лука держал кирпич и смотрел на колосок. Он был вырезан так, как вырезают дети или очень старые люди: неровно, но с нажимом, всерьёз. Бабушка никогда не говорила ни про какой кирпич. Бабушка много про что не говорила, понял вдруг Лука. Он всегда думал, что она рассказывает ему всё, а она рассказывала только то, что считала нужным, и только когда считала, что пора.

– Я его обратно положу, – сказал он.

– Не положишь. Он сел, потому что раскрошился снизу. Я новый поставлю. А этот возьми. Пусть лежит. – Агния помолчала. – Ты бы его на полку, к Матушке.

Он поставил кирпич на полку, рядом с корчагой. Корчага и кирпич как-то сразу подружились: стояли рядом, тёмные, старые, и казалось, что они стоят так всегда.

Агния полезла снова, уже с новым кирпичом и раствором.

Один раз, в перерыве, она спустилась попить и села на ступеньку лестницы, свесив ноги в валенках.

– А ты помнишь, как ты к Ульяне попал? – спросила она вдруг. – Я помню. Мне было восемь. Весь город на берег бегал.

Лука помнил. Он помнил плохо, кусками, как помнят в семь лет: мартовский лёд, серый и рыхлый, сани отца, мать в синем платке, крик с берега. Отец вёз муку с Полуденного холма напрямик, по реке, потому что через мост было вдвое дольше, а мать поехала с ним, потому что в тот день был её день рождения и она хотела сама выбрать мешок с самым золотым зерном. Лёд был уже весенний. Он помнил, как бабушка держала его на берегу за воротник, так крепко, что потом на шее остались синяки, и не кричала, а только повторяла: «Не смотри, Лукаша, не смотри». Он всё равно смотрел.

– Помню, – сказал он.

– Ульяна тогда пекарню на три дня закрыла. Первый раз за всю свою жизнь, мне мать говорила. А на четвёртый день открыла и испекла столько летнего хлеба, что раздала его даром всему берегу. И сказала: кто его утопил, тот пусть и ест, а кто живой, тот пусть греется. – Агния покачала головой. – Я не поняла тогда. Я и сейчас не очень понимаю.

– Она про реку, – сказал Лука. – Она думала, что река тоже голодная. Она всегда так говорила: что всё на свете голодное, только не все умеют просить.

Агния посмотрела на него долгим взглядом, но ничего не сказала. Допила воду, отряхнула колени и снова полезла наверх. Работала она до сумерек. Лука за это время успел сделать вторую закладку, накормить Матушку, замесить тесто на завтра и вскипятить самовар. Когда Агния спустилась в последний раз, уже совсем стемнело, и в пекарне горела лампа, а на столе стоял самовар, две чашки и тарелка с последней маленькой буханкой с косичкой, которую Лука опять не съел сам.

– Ого, – сказала Агния. – Это ты мне?

– Тебе. Ты же работала.

– Это входит в плату?

– Это не плата. Плату я отдельно.

– Я с тебя денег не возьму.

– Возьмёшь.

– Не возьму, Сеянов, не спорь со мной, я с крыши устала. – Она села к столу, не снимая тулупа, обхватила горячую чашку чёрными руками. – Ульяна мне печь давала изразцами обкладывать, когда мне было пятнадцать. Первую в жизни. Все говорили: девка, испортит. А она сказала: пусть портит, я посмотрю. И я не испортила. Вот это и есть плата. Я ей тогда должна осталась.

Она отломила от буханки, понюхала, закрыла глаза. Потом положила кусок в рот, и Лука увидел, как это происходит с ней, – так же, как с мальчишками, и всё-таки по-другому. У неё не поднялись плечи, не покраснели уши. Она просто сидела, жевала и слушала что-то внутри себя. А потом сказала тихо:

– Июль. Покос. Мы с отцом на Полуденном холме, я маленькая, у меня грабли в два раза длиннее меня. И стрижи над полем. – Она открыла глаза. – Хорошо, Сеянов. Очень хорошо.

– До утра не хватит, – сказал Лука. Он не хотел этого говорить, оно само сказалось.

Агния посмотрела на него внимательно.

– А при Ульяне хватало?

– Хватало.

– И ты думаешь, это ты виноват.

– Кто же ещё. Мука та же. Вода та же. Матушка та же. Печь та же. – Он кивнул на полку. – Была. Руки другие.

Агния поставила чашку.

– Дай руки.

– Зачем?

– Дай, говорю.

Он протянул руки над столом. Она взяла их в свои, чёрные от сажи, повернула ладонями вверх, потом вниз, разглядывая ожоги, как разглядывала кирпичи.

– Руки у тебя хорошие, – сказала она. – Обожжённые, как у дурака, но хорошие. Я руки вижу. По рукам я печь кладу. По рукам можно понять, сколько человек вложит. Ты вкладываешь всё.

– Значит, не руки, – сказал он. – Тогда я не знаю что.

– А может, тебе просто нечем греть.

– Как это?

– Ну. – Агния отпустила его руки, отвела взгляд. – Печь греет, потому что в ней горит. Если дров мало, тепла мало. Ты всё отдаёшь хлебу, а в тебе самом что горит? Ты один. С апреля один. Сидишь здесь, как сыч, мне Никодим сказал, он тоже за тебя волнуется. Ни к кому не ходишь. Ни с кем не говоришь. Хлеб же не из муки греет, Сеянов. Мука – это просто мука.

– А из чего?

– Не знаю. Я печница, а не пекарь. Но я знаю, что печь, которую клал злой мастер, тянет хуже. Это все печники знают. Сычёвы, например. Хорошие печи, а дымят, потому что сами они вечно злые.

Лука хотел возразить и не смог. Он смотрел на Агнию и думал, что она первый человек с апреля, который сидит у него за столом и не говорит ему «держись» и не смотрит на него с жалостью.

– Ты печь починила, – сказал он вместо всего этого. – А хозяина?

– Печь у тебя здоровая, – сказала Агния. – А хозяин – нет. Хозяина я чинить не умею. Это ты сам.

Она встала, допила взвар одним глотком, взяла мешок.

– Деньги, – сказал Лука.

– Иди ты со своими деньгами. – Она остановилась у двери. – Хочешь платить – давай так. Раз в неделю я к тебе захожу. Поглядеть на печь. Она старая, ей присмотр нужен. А ты мне хлеб. Обычный. Летнего не надо.

– Почему не надо?

– Потому что мне хватает. – Она усмехнулась. – Я тебе не скажу, до скольких мне хватило, Сеянов. Не надейся. Вот ещё, учёт вести, как Матрёна.

Она вышла. Лука смотрел в окно, как она идёт по Калачной, большая в своём тулупе, с мешком за плечом, и как фонарщик на углу останавливается и что-то ей говорит, а она смеётся, запрокинув голову.

Он вернулся к печи. Растопил её на ночь, чтобы проверить. Печь задышала ровно, глубоко, без единого всхлипа, и дым ушёл в трубу прямым столбом, и Лука, выйдя на крыльцо, долго смотрел, как этот столб поднимается в чёрное небо, к звёздам, мелким и колючим, как соль.

На полке, рядом с корчагой, стоял кирпич с колоском. Помни. Лука взял его, подержал в руках. Кирпич всё ещё был тёплым.

– Что помнить? – спросил он вслух. – Ты бы хоть сказал.

Кирпич не сказал. Но где-то в углу, за мешками с мукой, тихо, как сверчок, скрипнула половица, и Лука, сам не зная почему, вдруг подумал о бабушке так ясно, как не думал с апреля. Не о похоронах, не о последних днях, когда она лежала маленькая и жёлтая и уже не узнавала его, а о том, как она стояла у этой печи, вот здесь, с лопатой в руках, и смеялась, потому что он, десятилетний, уронил каравай в ведро с водой.

– Помни, – повторил он. – Ладно. Помню.

Тесто под полотном тихо дышало. Матушка в корчаге пустила пузырь, и он лопнул с еле слышным звуком, будто кто-то в темноте коротко вздохнул.

В ту ночь Лука спал без снов. А утром, в половине шестого, когда он вынул хлеб и поставил на решётки, ему показалось, что запах стал немного другим. Чуть теплее. Совсем чуть-чуть. Так бывает в конце мая, когда липы ещё не цветут, но уже собираются.

Матрёна Ивановна вечером постучала в окно и сказала:

– До трёх.

И ушла, не дожидаясь ответа.

Глава 3. Девочка с севера

Калач пропал в среду, восьмого ноября, около полудня, в тот единственный миг, когда Лука отвернулся от прилавка, чтобы снять с решётки следующий.

Он не видел, как это случилось. Он только услышал, как звякнул колокольчик над дверью, хотя никто не входил, и, обернувшись, увидел, что на прилавке, где только что лежали в ряд пять калачей, лежит четыре. А за окном, по Калачной, мелькнуло что-то маленькое, серое, на тонких ногах, с длинной ношей на плече.

Лука был не из тех, кто бегает за ворами. Бабушка за ворами не бегала никогда: говорила, что если человек ворует хлеб, значит, ему этот хлеб нужнее, чем ей. Но в этот раз Лука выскочил на крыльцо, сам не зная зачем, может быть, потому, что в фигурке за окном было что-то неправильное, что-то, от чего у него ёкнуло под ложечкой.

Фигурка бежала неловко. Ноша на плече мешала ей, цеплялась за заборы. Это были лыжи. Обыкновенные охотничьи лыжи, широкие, подбитые мехом, какие делают на севере. Посреди ноября, когда в Медунице не было ни снежинки, а лужи на Калачной лишь схватывались по утрам тонким ледком, кто-то бежал по улице с лыжами на плече.

На углу у скобяной лавки фигурка поскользнулась на замёрзшей луже и упала. Лыжи загремели по мостовой. Из мешка за спиной, который Лука сначала не заметил, раздался возмущённый, почти человеческий вопль. Лука подбежал. На мостовой, растянувшись во весь рост, лежала девочка. Лет десяти, а может, одиннадцати. В тулупчике, перешитом из взрослого, с рукавами, подвёрнутыми трижды. В валенках, разбитых до дыр. В платке, из-под которого торчали светлые, почти белые волосы, спутанные, как кудель. Калач она прижимала к груди обеими руками, и даже падая, не выпустила.

– Не трогай! – сказала она, увидев его. – Не трогай, я верну!

– Я и не трогаю, – сказал Лука.

– Я верну! Я завтра верну! Мне только сейчас надо, а завтра я отработаю! Я дрова колоть умею! И воду носить! И корову доить, только у вас тут коров нет, наверно, у вас тут всё городское!

Мешок за её спиной снова заорал и начал биться.

– Кто там у тебя? – спросил Лука.

– Уголёк. Кот. Он злой, он тебя покусает.

– Я не буду его трогать.

– Ты меня трогать будешь. Ты меня к голове поведёшь. Или к попу. Или в участок. – Она села, не выпуская калача, и посмотрела на него снизу вверх. Глаза у неё были светлые, очень светлые, серо-голубые, как вода в проруби. – Мне нельзя в участок. Мне надо к голове. Но не в участок.

Лука присел перед ней на корточки, так, чтобы быть не выше.

– Тебя как зовут?

– Нюта.

– Нюта, а дальше?

– Ветлугина. Из Ольхов.

– Ольхи – это где?

Она посмотрела на него как на дурачка.

– На севере. За Ржавым бором, за Сухой балкой, на Студёном ручье. Восемь дворов. Ты что, не знаешь?

– Не знаю, – честно сказал Лука. – Я за Полуденный холм ни разу не ходил.

– Вот видишь, – сказала Нюта с горьким торжеством. – Никто ничего не знает. Мамка так и говорила: в городе никто ничего не знает, в городе думают, что за рекой ничего нет.

Она вдруг откусила от калача, сразу половину, и стала жевать, торопливо, не разжёвывая, давясь, будто боялась, что отнимут. И Лука увидел, какое у неё лицо. Не просто худое. Обветренное до красноты, с потрескавшимися губами, с белыми пятнами на скулах и на кончике носа – такие пятна бывают, когда человек долго идёт по морозу и не может согреться. Он видел такие у мужиков, которые зимой возили лес. Он никогда не видел их у ребёнка. И никогда – в начале ноября, в Медунице, где не было ещё и снега.

– Пойдём, – сказал он.

– В участок?

– В пекарню. У меня печь.

Она подумала. Кот в мешке выл.

– А потом в участок?

– Потом поглядим.

Он подобрал лыжи. Они были тяжёлые и мокрые, мех на них свалялся и обледенел. Нюта встала сама, не дав ему помочь, и пошла рядом, хромая. Мешок с котом бил её по спине. Прохожие оглядывались. Из окна скобяной лавки высунулся приказчик и что-то крикнул, Лука не расслышал.

В пекарне он посадил её на табурет у печи, на свой табурет, и только тогда она отпустила остаток калача, положила его на колени и сняла мешок. Из мешка выбрался кот, чёрный, худой, со свалявшейся шерстью и с одним белым ухом. Он сел на пол, оглядел пекарню, оглядел Луку, оглядел печь, решил, что всё это ему подходит, и полез греться к самому устью, туда, где на шестке лежали угли.

– Обожжётся, – сказал Лука.

– Не обожжётся. Он умный. Он через Ржавый бор шёл и не обжёгся.

– Через Ржавый бор огня нет.

– Это у вас нет. – Нюта сняла платок. – А у нас мы костры жгли. По ночам. Всю дорогу. Чтоб не замёрзнуть.

Лука налил ей молока, подогрел, отрезал хлеба, обычного, и намазал маслом. Подумал и отрезал ещё – летнего. Последний ломоть от утренней буханки, которая не ушла к обеду. Нюта взяла обычный хлеб, а летний отодвинула.

– Это какой?

– Летний.

– Тот самый?

– Тот самый.

Она смотрела на ломоть долго, будто это был не хлеб, а что-то живое и опасное. Потом сказала:

– Мамка говорила: «Дойдёшь до Медуницы, найдёшь пекарню, где пекут летний хлеб. Попроси у них. Скажи, что на севере лето кончилось. Они поймут».

– Что значит – кончилось?

– Значит, кончилось. – Нюта сжала кулаки на коленях. – Ты не веришь. Никто не верит. Я уже двоим сказала, пока шла. Один дядька на санях на Сухой балке, он сказал, что я дурная, и не подвёз. И одна тётка на хуторе у Кривого брода. Она дала молока, но тоже сказала, что я дурная.

– Я ещё ничего не сказал, – напомнил Лука.

Нюта подняла на него свои прозрачные глаза.

– Шестнадцатого августа, – сказала она. – Ночью. Мы вечером спать легли, было тепло, мамка окна открытые оставила, у нас в августе всегда душно. Брат мой, Стёпка, спал на сеновале, потому что жарко. А я проснулась, потому что холодно. Как будто кто-то одеяло стянул. Я встала, а на полу иней. На полу, у кровати. И окно всё белое, в узорах, как в январе. Я вышла. А

там всё. Всё белое. Огород, яблони, рожь на поле, у нас поле маленькое, за ручьём. Всё в инее, и снег идёт. В августе. Мелкий-мелкий, как мука. И тихо. Совсем тихо. Даже собаки не лаяли.

Она замолчала. Кот у печи повернул к ней голову.

– А дальше? – тихо спросил Лука.

– Дальше утром мамка пошла смотреть корову, а корова стоит в хлеву вся в инее и не мычит. Живая, но не мычит, просто стоит. И куры. И всё. Дядька Фрол с соседнего двора сказал, что это заморозок, сейчас солнце встанет, всё растает. А солнце встало, и ничего не растаяло. И на второй день не растаяло. И на третий. Рожь так и стояла белая, мы её не сжали. Яблоки на яблонях замёрзли, стали как стекляшки. А снег шёл и шёл. К сентябрю было по колено, к октябрю по пояс. Ручей встал. Дядька Фрол с семьёй ушёл в город, на юг, ещё в сентябре, говорил, что доберётся до Вышеграда, у него там брат. И ещё двое ушли. А мамка не ушла, потому что Стёпка заболел. У него… – она запнулась. – Он стал сонный. Всё время сонный. Сидит, смотрит в окно и не хочет есть. Ему не холодно, понимаешь? Ему совсем не холодно. Он босиком на снег выходит и не мёрзнет. И на ресницах у него иней. Мамка сказала: это хворь такая, её только тёплым лечат, только летним. И сказала, что в Медунице есть пекарня. И я пошла.

– Одна?

– С Угольком.

– Сколько ты шла?

– Двенадцать дней. – Она подумала. – Тринадцать. Я на Сухой балке день пережидала, там пурга была. А потом снег кончился. Я вышла из бора, а там нет снега. Совсем. Трава жухлая, листья. Я думала, я с ума сошла. Я лыжи сняла и несла. Вот.

Лука посмотрел на лыжи, прислонённые к стене у двери. С меха на них натекла лужица.

– Ты не врёшь, – сказал он. Это был не вопрос.

– Я не вру, – сказала Нюта. – Я ворую. А вру я плохо, мамка говорит, у меня уши краснеют.

Уши у неё не покраснели.

Лука встал, взял летний ломоть и вложил ей в руку.

– Ешь.

– А Стёпке?

– Стёпке потом. Сейчас ты ешь. Ты до него не дойдёшь, если сама замёрзнешь.

Она подумала и съела. Не так, как калач, а медленно, по крошке, отщипывая. Лука смотрел. Он думал, что с ней будет то же, что с мальчишками, – уши, плечи, смех. Но Нюта не засмеялась. Она съела последнюю крошку, сложила руки на коленях и долго сидела неподвижно. А потом заплакала. Тихо, без звука, только слёзы текли по обветренным щекам и капали на руки, и белые пятна на скулах медленно, на глазах, становились розовыми.

– Пахнет, – сказала она наконец, шмыгнув носом. – Ты чуешь? Земляникой пахнет. У нас за ручьём земляника в июле. Мы со Стёпкой собирали в кружку, и он всё съедал, а мне ничего не оставлял. Я его колотила.

– Чую, – сказал Лука, хотя чуял только печь и тесто.

Кот у печи вдруг встал, потянулся, подошёл к Нюте и, впервые за всё время, начал мурлыкать, громко, как маленький самовар.

Они посидели так. Потом Лука спросил:

– Мамку как зовут?

– Прасковья. Прасковья Ветлугина.

– А отца?

– Отца нет. Отец в лесу пропал, когда Стёпка родился. Мы втроём.

Втроём, подумал Лука. Бабушка, мать и я. Потом бабушка и я. Потом я.

– Мне надо к голове, – сказала Нюта, вытирая лицо рукавом. – Мамка сказала: в пекарне попросишь хлеба, а потом к голове пойдёшь, скажешь, чтоб людей прислал. Чтоб с санями. Нас забрать. Там ведь ещё бабка Феня осталась, она старая, она не дойдёт. И тётка Мавра с детьми. Всего нас там девять человек осталось. И корова.

– Корову на санях не увезёшь, – сказал Лука.

– Тогда пусть корову не берут. Но людей надо.

Лука посмотрел в окно. Был час дня. Хлеб на сегодня он продал, обычный ещё оставался, но его могли взять и без него, у Матрёны Ивановны был ключ. Тесто на завтра можно было завести и вечером. Матушку покормить – тоже вечером.

– Ладно, – сказал он. – Пойдём к голове.

– Сейчас?

– А когда?

Нюта посмотрела на него, на печь, на кота. Потом медленно кивнула.

– А кот?

– Кот останется. Ему тут хорошо.

– А если ты его выгонишь?

– Не выгоню. У нас в пекарне кошка жила восемнадцать лет. Мыши без кошки наглеют.

– Он не кошка, он кот.

– Тем более.

Она надела платок, завязала его под подбородком, как взрослая. Лука нашёл в сундуке бабушкины старые шерстяные носки, толстые, деревенской вязки, и заставил её надеть их поверх её собственных, рваных, прежде чем снова влезть в разбитые валенки. Она поворчала, но надела.

У двери она обернулась.

– А тебя как зовут? Я не спросила.

– Лука.

– Лука Сеянов?

– Откуда знаешь?

– Мамка сказала. Сказала: в пекарне пекут Сеяновы, они хлеб для зимы пекут. Сто лет пекут. И бабушка у них – Ульяна, она добрая, она поможет. – Нюта помолчала. – А где бабушка Ульяна?

Лука застегнул тулуп. Пуговица не лезла в петлю, он долго возился с ней.

– Умерла, – сказал он. – В апреле.

Нюта ничего не ответила. Она только взяла его за руку. Просто так, как берут за руку старшего брата, когда переходят дорогу. Рука у неё была маленькая, жёсткая и ещё холодная, но уже не ледяная.

Они вышли на Калачную. Небо над городом было низким, серым, ветер дул с севера, и в нём впервые за эту осень Лука почувствовал то, о чём раньше только читал в бабушкиных приметах: запах снега, сухой, колючий, бесцветный, как запах чистого белья на морозе. Нюта тоже его почувствовала. Она остановилась, подняла голову и посмотрела на север, туда, где за крышами, за рекой, за Полуденным холмом лежали Пустоши.

– Он идёт, – сказала она.

– Кто?

– Снег. За мной идёт. Я от него ушла, а он идёт.

Лука хотел сказать, что снег не может ходить за людьми. Но не сказал. Он сжал её руку покрепче, и они пошли вниз по Калачной, через Торговую площадь, к ратуше, на крыше которой медный петух скрипел, поворачиваясь клювом на север, и больше уже не поворачивался обратно.

Но до ратуши они дошли не сразу, потому что ноги у Нюты заплетались, а площадь была большая и продутая ветром насквозь. На площади, у церковной ограды, им встретился отец Никодим. Он стоял на стремянке у ворот и прибивал отошедшую доску, держа гвозди в зубах, и, увидев Луку, так удивился, что чуть не проглотил один.

– Лука? – Он выплюнул гвозди в ладонь и слез. – Ты среди бела дня на улице? Что стряслось? А это кто?

– Нюта, – сказал Лука. – С севера. Из Ольхов.

Нюта посмотрела на рясу, на бороду со стружками, на молоток и, видимо, решила, что этому можно. Она рассказала всё снова, только короче: про шестнадцатое августа, про иней на полу, про корову, которая не мычит, про Стёпку, который ходит босиком по снегу. Отец Никодим слушал, не перебивая. Его большое лицо становилось всё серьёзнее, а когда она дошла до брата, он опустился перед ней на одно колено, прямо на мёрзлую землю, чтобы глядеть ей в глаза.

– Иней на ресницах, говоришь?

– На ресницах. И на бровях. И не тает.

– Я такое видел, – медленно сказал отец Никодим. – Один раз. Давно, мальчишкой. У нас в деревне, в Заболотье, зима была долгая, до самого мая, и старик-сосед вот так же сел у окна и перестал мёрзнуть. Его бабки отпаивали малиной и не отходили от него ни на шаг, разговаривали с ним день и ночь, чтоб не уснул. Отпоили. – Он перекрестил Нюту, широко, по-деревенски. – И брата твоего отпоят. Ты молодец, что пришла. Ты очень храбрая девка, знаешь это?

– Знаю, – сказала Нюта.

Отец Никодим рассмеялся и встал, отряхивая колено.

– Идите к Аристарху. Я бы с вами пошёл, да у меня через час отпевание, старика Горшенина. Лука, если он вас развернёт, приходи ко мне. Вместе пойдём. Он меня боится немножко, я ему в позапрошлом году крыльцо в управе чинил и сказал, что если он ещё раз будет при мне на сторожа кричать, я ему это крыльцо обратно разберу.

– Он не развернёт, – сказал Лука, сам не очень в это веря.

– Развернёт, – спокойно сказал отец Никодим. – Аристарх Пальчиков хороший человек, только напуганный. А напуганные люди всего нового боятся вдвойне. Ты с ним не спорь. Ты его просто не отпускай.

Он вернулся к своей доске. Нюта оглянулась на него несколько раз, пока они шли через площадь.

– Он добрый, – сказала она. – Он поверил.

– Он всем верит, – сказал Лука. – Это у него работа такая. Он и мне верит, когда я говорю, что у меня всё хорошо.

– Нет, – сказала Нюта, подумав. – Это у него лицо такое. У мамки такое лицо было, когда Стёпка родился.

Матрёна Ивановна видела их из окна своей чайной и потом всем рассказывала, что в тот день Лука Сеянов впервые с апреля вышел из пекарни не по делу. Она ошибалась, это было как раз по делу. Но Лука не стал её поправлять.

Глава 4. Городской голова

Ратуша в Медунице была единственным в городе зданием в три этажа, и Аристарх Филимонович Пальчиков занимал весь второй. На первом сидели писари, сторож и почтовая контора. На третьем хранились архивы, старые знамёна, сломанная пожарная помпа и, по слухам, чучело медведя, которое прежний голова получил в подарок от губернатора и не знал, куда деть. А второй этаж был царством Пальчикова: три комнаты с высокими окнами, ковёр, портрет губернатора над столом, шкафы с папками до потолка и запах сургуча, табака и мятных леденцов, которые голова сосал от нервов.

Сторож внизу, старый солдат Игнатьич, долго не хотел их пускать.

– Приёмный день в понедельник, – сказал он, не поднимаясь со скамьи. – Сегодня среда.

– У нас дело, – сказал Лука.

– У всех дело. В понедельник.

– Дело с севера, – сказала Нюта. – Там люди замерзают.

Игнатьич посмотрел на неё. Потом на лыжи, которые Лука, сам не зная зачем, прихватил с собой. Потом снова на неё. Он был старый солдат, он воевал на северной границе тридцать лет назад и знал, что такое обмороженное лицо.

– Посиди, – сказал он и пошёл наверх, кряхтя на каждой ступеньке.

Его не было долго. Нюта сидела на скамье, болтала ногами в бабушкиных носках и разглядывала потолок, расписанный когда-то какими-то херувимами, давно облупившимися. Лука стоял. Он чувствовал себя здесь, как всегда в казённых местах, огромным, неловким и лишним. Руки девать было некуда. Он сунул их в карманы тулупа и нащупал там бумажку. Достал. Это была записка Матрёны Ивановны, оставленная утром на прилавке: «Лукаша, не забудь, у Пелагеи именины, отнеси ей пряник». Пряник он забыл.

Наверху хлопнула дверь, и по лестнице скатился голос:

– Пусть поднимутся! Только быстро! У меня через полчаса смета!

Пальчиков встретил их стоя. Он был невысокий, плотный, с круглым розовым лицом, которое обрамляли густые рыжеватые бакенбарды, поседевшие к ушам. Сюртук на нём был хороший, но сидел так, будто его хозяин похудел за последний год и не успел перешить. На столе перед ним лежали стопки бумаг, ровные, как кирпичи, и среди них, в серебряной рамке, портрет молодой женщины в светлом платье.

– Сеянов, – сказал Пальчиков. – Вот уж кого не ждал. Что, с печью беда? Я же говорил, трубы чистить до Покрова, все в городе знают, был приказ номер четыре.

– С печью всё хорошо, – сказал Лука. – Мы по другому делу.

– По какому?

Лука посмотрел на Нюту. Нюта посмотрела на Пальчикова. Пальчиков посмотрел на часы.

– Ну? – сказал он.

И Нюта рассказала. В третий раз за этот день. Лука заметил, что с каждым разом она рассказывает всё короче и всё твёрже, как будто отполировывает свой рассказ, как камешек, чтобы его было легче бросить. Шестнадцатое августа. Иней на полу. Рожь белая. Корова не мычит. Снег по пояс. Девять человек. Стёпка босиком на снегу. Она не плакала. Она говорила ровно, глядя Пальчикову прямо в бакенбарды.

Пальчиков слушал, сначала стоя, потом сел. Сосал леденец. Один раз потянулся к перу, будто хотел записать, но передумал. Когда Нюта замолчала, он долго смотрел в окно, на площадь, где ветер гонял по булыжнику сухие листья.

– Девочка, – сказал он наконец мягко, почти ласково. – Ты очень устала. Ты долго шла. Я верю, что у вас там был ранний мороз. Северные хутора, они ведь у самой гряды, там всякое

бывает. Бывает, в июне снег выпадает, бывает, в августе заморозок. Я в губернских отчётах читал, такое случается.

– Он не растаял, – сказала Нюта.

– Ну, может, не сразу растаял. А потом осень. Осенью и должно холодать.

– Он с августа не растаял.

– Девочка, – повторил Пальчиков, и голос у него стал ещё мягче, а лицо ещё розовее. – Посмотри в окно. Ноябрь. Снега нет. До Ольхов твоих, если я правильно помню карту, вёрст сто двадцать. Не может быть так, чтоб у вас с августа по пояс, а у нас и не выпал. Погода, она же не стенкой стоит. Она общая.

– Она стоит стенкой, – сказала Нюта. – Я шла. Я видела. Там, где Ржавый бор кончается, там как ножом. С одной стороны снег, с другой трава.

Пальчиков вздохнул. Посмотрел на Луку. Во взгляде было что-то просящее: ну хоть ты, взрослый человек, скажи ей.

– Она не врёт, – сказал Лука.

– Я не говорю, что врёт. Я говорю, что ей… показалось. Устала, испугалась, у детей фантазия.

– У неё лицо обморожено, – сказал Лука. – И у неё лыжи.

Он поставил лыжи у стола. С меха на ковёр снова натекла лужица. Пальчиков посмотрел на лужицу так, будто это была личная обида.

– Лыжи, – повторил он. – Сеянов, ты меня извини. Я голова. Я отвечаю за город. За две тысячи четыреста душ, если по последней переписи. Если я сейчас начну снаряжать сани на север, в начале зимы, по нехоженой дороге, на сто двадцать вёрст, за людьми, о которых я знаю только со слов девочки, которая, прости, у тебя калач украла…

– Откуда вы знаете? – удивилась Нюта.

– Мне из скобяной лавки уже доложили, – сказал Пальчиков устало. – Мне обо всём докладывают. Это город, девочка. Здесь на одном конце чихнёшь, на другом скажут «будь здоров» и донесут в управу. Так вот. Если я пошлю людей, а там – ранний заморозок, который давно растаял, и все сидят по домам и пьют чай, меня губернатор спросит: на каком основании? Кто будет платить возчикам? Кто будет отвечать, если сани провалятся в болото? Я не могу.

– А если не растаял? – спросил Лука.

– Тогда весной пошлём. Весной, как только дороги встанут. Я сам распоряжусь. Даю слово.

– Весной Стёпка помрёт, – сказала Нюта.

Пальчиков замолчал. Он снова взял леденец из вазочки, развернул обёртку, но так и не положил в рот, а держал в пальцах, и пальцы у него, Лука заметил, чуть-чуть дрожали.

– У тебя брат сколько лет? – спросил он вдруг.

– Шесть.

– Шесть, – повторил Пальчиков. – А у меня дочь. Девять. Ксенией зовут.

Он посмотрел на портрет в серебряной рамке.

– Я пошлю нарочного, – сказал он, помолчав. – Одного. Верхом. До Ржавого бора и обратно. Пусть посмотрит, какая там стенка. Если увидит снег – напишет. Если не увидит – не обессудь. Это всё, что я могу сделать сейчас. Это и так больше, чем я должен.

– А когда? – спросила Нюта.

– На следующей неделе. Когда найду, кого послать. Желающих, знаешь ли, немного.

– Это долго.

– Это не долго, девочка. Это быстро. Это для управы почти мгновенно.

Нюта открыла рот, чтобы возразить, но Лука положил ей руку на плечо, и она закрыла его.

– Спасибо, Аристарх Филимонович, – сказал Лука.

Пальчиков махнул рукой. Он уже снова смотрел в бумаги.

– А девочка где жить будет? – спросил он, не поднимая головы. – Её же надо куда-то. В приют, может. У нас при богадельне есть комната для сирот.

– Я не сирота, – сказала Нюта.

– Она будет у меня, – сказал Лука. Он не думал об этом раньше. Это сказалось само, как тогда, с Агнией, про хлеб, которого не хватит до утра. – До весны.

Пальчиков поднял глаза. Посмотрел на Луку с удивлением, а потом с каким-то странным выражением, которого Лука не понял. Будто Пальчиков хотел что-то сказать, но передумал.

– Ульяна бы так сделала, – произнёс он наконец. – Ладно. Запишем. Временная опека. Сеянов Лука, мещанин, пекарь. Ветлугина…

– Анна, – сказала Нюта. – Анна Степановна. Это по-настоящему. А Нюта – это так.

– Ветлугина Анна Степановна, крестьянка хутора Ольхи, одиннадцати лет. До весны. – Пальчиков записал, присыпал песком, сдул. – Всё. Идите. У меня смета.

Они пошли к двери. И тут из соседней комнаты, той, что была за портретом губернатора, раздался тоненький голос:

– Папа, а можно я её провожу?

Дверь приоткрылась. В щели стояла девочка, светловолосая, в синем платье с белым воротничком, с куклой под мышкой. Она была похожа на женщину на портрете так сильно, что Лука даже моргнул.

– Ксеня, – сказал Пальчиков, и голос у него изменился, стал совсем другим, мягким без всякой казённой мягкости. – Ты же уроки делаешь.

– Я всё сделала. Можно я её провожу? До низу. Только до низу.

Пальчиков посмотрел на дочь, на Нюту, на свои бумаги.

– До низу, – сказал он. – И сразу назад.

Ксеня выскочила, подбежала к Нюте и взяла её за руку, как будто они были знакомы всю жизнь. Нюта от неожиданности не отняла руки.

Они спустились по лестнице. Лука шёл позади и слышал, как девочки шепчутся.

– А правда, что ты пришла с севера одна?

– Правда.

– А не страшно было?

– Страшно. Ночью особенно. Там волки воют. Не близко, но воют.

– А ты на них не смотрела?

– Я их не видела. Я только слышала. И костёр жгла.

– А у тебя кот есть? Мне Игнатьич сказал, у тебя в мешке кот.

– Есть. Уголёк. Он сейчас у Луки в пекарне.

– А можно я его поглажу?

– Он злой.

– Я злых не боюсь. У нас кухарка злая, я её тоже не боюсь.

У нижней ступеньки Ксеня остановилась, оглянулась наверх, на закрытую дверь отцовского кабинета, и вдруг сказала совсем другим голосом, тихим и взрослым:

– Ты не обижайся на папу. Он хороший. Он просто всё время боится. С тех пор как мама умерла, он всего боится. Что я простужусь. Что я упаду. Что я в реку провалюсь. Он даже на ярмарку меня одну не пускает. Он не потому тебе не поверил, что ты врёшь. Он потому, что ему страшно, если это правда.

Нюта посмотрела на неё. Потом кивнула.

– Я приду к тебе в пекарню, – сказала Ксеня. – Гладить кота. Можно?

– Можно, – сказал Лука сверху, хотя спрашивали не его.

Ксеня улыбнулась, отпустила Нютину руку и взбежала по лестнице обратно, перепрыгивая через ступеньку. Игнатьич проводил её взглядом и сказал, ни к кому не обращаясь:

– Вся в мать. Та тоже бегала, как коза.

Они вышли на площадь. Ветер стал сильнее. Небо на севере потемнело, стало сизым, тяжёлым, будто туда, за Полуденный холм, налили свинца.

– Он не пошлёт, – сказала Нюта.

– Пошлёт, – сказал Лука. – Он записал.

– Записал – это не послал.

Лука ничего не ответил, потому что она была права.

Они шли обратно на Калачную медленно. Нюта едва передвигала ноги, теперь, когда главное дело было сделано, она словно разом сдулась, как тесто, которое передержали. На полпути Лука молча забрал у неё лыжи, которые она снова взвалила на плечо, а ещё через квартал подхватил её саму и понёс, как носил когда-то бабушка его, усталого, с ярмарки. Нюта не сопротивлялась. Она обхватила его за шею и почти сразу уснула, тёплая, лёгкая, пахнущая дымом костров, которые жгла тринадцать ночей подряд.

Матрёна Ивановна выскочила им навстречу из «Самоварного двора», всплеснула руками, увидев спящую девочку, и сразу, ни о чём не спрашивая, побежала вперёд, открыла пекарню своим ключом, раздула печь, постелила на лавке у печи бабушкино лоскутное одеяло. Лука положил Нюту на лавку. Кот, Уголёк, сидевший на шестке, спрыгнул, обошёл лавку кругом, обнюхал хозяйку и улёгся у неё в ногах, свернувшись клубком.

– Это кто ж такая? – шёпотом спросила Матрёна Ивановна.

– Нюта. С севера.

– С какого севера?

– Из Ольхов. За Ржавым бором.

– Батюшки. – Матрёна Ивановна прижала руки к груди. – Это ж сто вёрст.

– Сто двадцать.

– И ты что, её себе оставил?

– До весны.

Матрёна Ивановна посмотрела на него так, будто видела впервые. Потом на девочку. Потом опять на него. И вдруг утёрла глаза краем платка.

– Ну и правильно, – сказала она. – Ну и молодец. Я ей завтра платье перешью, у меня от дочки осталось. И валенки надо. Эти – одни дыры. Я к Агнии схожу, у неё от племянника были. Ты её корми, Лукаша. Ты её хорошо корми, а то она прозрачная вся.

– Буду, – сказал Лука.

Матрёна Ивановна ушла, и в пекарне стало тихо. Лука сел на табурет. Посмотрел на спящую Нюту, на кота, на корчагу с Матушкой, на кирпич с колоском. Помни, подумал он. Кому я пеку.

За окном пошёл дождь. Холодный, мелкий, ноябрьский. Через час он стал крупой. А к ночи, когда Лука заводил тесто на завтра, крупа сменилась первыми редкими снежинками, которые падали на Калачную и сразу таяли.

Около полуночи Нюта проснулась. Лука услышал, как скрипнула лавка, и обернулся от дежи. Девочка сидела, закутавшись в одеяло по самый нос, и смотрела на него круглыми, совсем не сонными глазами.

– Ты что делаешь?

– Тесто ставлю. На завтра.

– Ночью?

– Хлеб ночью растёт. Как дети.

Нюта подумала над этим.

– А летний будет?

– Будет. Утром.

– А можно мне посмотреть, как ты его делаешь?

– Можно. Только тихо сиди. Тесто шума не любит.

Она слезла с лавки, волоча одеяло, как королевскую мантию, и села на табурет у стола. Лука замешивал. Он насыпал солнечную муку горкой, сделал в ней ямку, влил туда тёплой воды, положил ложку Матушки, ложку мёда, щепоть соли. Нюта смотрела, как золотые точки в муке поблёскивают при лампе.

– А что ты шепчешь? – спросила она.

– Я не шепчу.

– Шепчешь. Губами шевелишь.

Лука смутился. Он и правда шептал, сам того не замечая, бабушкину приговорку.

– «Расти, как рожь растёт, грей, как солнце греет», – сказал он вслух. – Так положено.

– А если не говорить?

– Не знаю. Никогда не пробовал.

– А можно мне сказать?

Он помедлил. Никто, кроме Сеяновых, никогда не говорил над этим тестом. Но бабушка бы не отказала, подумал он, бабушка вообще никогда никому ни в чём таком не отказывала.

– Скажи.

Нюта наклонилась над дежой так низко, что чуть не макнула нос в муку, и сказала шёпотом, очень серьёзно:

– Расти, как рожь растёт. Грей, как солнце греет. И Стёпку согрей. Пожалуйста.

Лука ничего не сказал. Он домесил, укрыл дежу полотном и поставил к печи. А потом, подумав, отщипнул от теста маленький кусок, скатал из него колобок и положил отдельно, на блюдце, под отдельную тряпицу.

– Это кому? – спросила Нюта.

– Стёпке. Испеку маленький, отдельно. Если голова пошлёт нарочного, пусть везёт.

– А если не пошлёт?

– Тогда сами придумаем.

Нюта посмотрела на блюдце, потом на Луку, потом снова на блюдце. Потом молча вернулась на лавку, легла, натянула одеяло на голову, и из-под одеяла Лука услышал тихий всхлип, а потом ровное сопение. Кот перебрался к ней на подушку.

Утром маленький колобок поднялся выше всех. Лука испёк его на рассвете вместе с остальными, завернул в чистую тряпицу и положил на полку, рядом с Матушкой и кирпичом. Он сам не знал, почему, но ему казалось, что там ему самое место.

Пальчиков в тот вечер, как потом узнал Лука, долго сидел у себя в кабинете один. Он достал из ящика стола карту губернии, старую, с обтрёпанными краями, расстелил её поверх бумаг и долго водил пальцем по северным землям, от Медуницы через Полуденный холм, через Пустоши, через Ржавый бор, до маленькой точки у Студёного ручья, которую кто-то когда-то подписал «Ольхи, 8 дв.». Потом убрал карту обратно. Достал из другого ящика пачку писем, перевязанных голубой лентой, и долго читал одно из них, верхнее, хотя знал его наизусть.

А потом написал на казённом бланке распоряжение: «Отправить нарочного верхами до Ржавого бора для осмотра дорог и сообщения о погоде. Срок – немедленно». Подумал. Зачеркнул «немедленно». Написал «в течение недели». Подумал ещё. Зачеркнул и это, и написал снова «немедленно», и подписал, и поставил печать, и только потом погасил лампу.

Ксеня спала в соседней комнате, обняв куклу, и ей снилось, что она гладит чёрного кота с белым ухом, а кот мурлычет так громко, что дрожат окна.

Глава 5. Мельница на Полуденном холме

Нарочного Пальчиков всё-таки отправил. Через два дня, в пятницу, в мутное утро, когда снежинки уже не таяли на крышах, а лежали тонкой сединой по краям черепицы, из ворот ратуши выехал молодой урядник Гаврила Сомкин на гнедой кобыле, в башлыке, с сумкой через плечо. В сумке, кроме казённого пакета, лежал маленький круглый хлеб в чистой тряпице. Лука сам принёс его к воротам на рассвете, ещё тёплый, и попросил отдать в Ольхах Прасковье Ветлугиной для её сына. Гаврила посмотрел на хлеб, на Луку, на Нюту, стоявшую рядом в новых валенках от Агнии, и сказал:

– Если доеду – отдам.

– А если не доедете? – спросила Нюта.

– Тогда сам съем, – сказал Гаврила и подмигнул ей. – Шучу. Довезу.

Нюта долго смотрела ему вслед, пока кобыла не скрылась за мостом Трёх Лип. Потом сказала:

– Он хороший. Но он не доедет.

– Почему?

– У него башлык тонкий.

Лука не стал спорить.

В тот же день, после обеда, они поехали на Полуденный холм за мукой. Это было последнее осеннее мельничное дело: каждый год в середине ноября Сеяновы забирали у деда Овсея остаток помола солнечной ржи, чтобы хватило до весны. Бабушка всегда ездила сама, на телеге соседа Гончарова, и всегда возвращалась поздно, усталая и странно задумчивая, и никогда не рассказывала, о чём они с мельником говорили так долго. Лука ездил с ней несколько раз мальчишкой, но его всякий раз отправляли гулять по полю или сидеть с лошадью, пока взрослые пили чай в мельничной избе.

Телегу Гончаров дал и в этот раз. Лошадь была та же, Сивка, старая, лохматая, с белой проточиной на морде. Она узнала Луку, ткнулась ему в плечо и долго дышала в ухо тёплым сенным духом.

– Она тебя любит, – сказала Нюта.

– Она хлеб любит. Я ей всегда горбушку давал.

– А сейчас дал?

– Сейчас дам.

Он дал горбушку, и Сивка съела её с таким видом, будто ничего лучше в жизни не пробовала. Нюта залезла на телегу, устроилась на мешках, пустых, сложенных стопкой, и Лука взял вожжи.

Дорога на Полуденный холм шла через мост Трёх Лип, потом через Заречье, где жили огородники и банщики, потом вверх, мимо кладбища, по старому тракту, обсаженному берёзами. Берёзы стояли голые, белые, и на их ветках уже лежал тонкий слой снега, отчего они казались нарисованными на сером небе серебряной краской. Холм поднимался впереди, пологий, широкий, и на самом его верху, как перст, торчала мельница: высокая, деревянная, почерневшая от ветров и дождей, с четырьмя огромными крыльями, обтянутыми выцветшей парусиной. Крылья стояли неподвижно. Ветер был, но мельница не крутилась.

– Почему она стоит? – спросила Нюта.

– Дед Овсей зимой не мелет. Помол кончен.

– А летом мелет?

– Летом мелет. И осенью, пока рожь есть.

– А почему рожь солнечная?

Лука подумал, как это объяснить.

– Она не такая, как другая рожь, – сказал он. – Её только здесь сеют. На этом поле. Больше нигде. Она желтее. И колос у неё тёплый, если в руку взять. Даже ночью. Бабушка говорила, что это потому, что поле на самом верху холма, и солнце на него светит раньше всех и дольше всех. А дед Овсей говорит, что это потому, что первое зерно принесла Агафья.

– Какая Агафья?

– Наша. Прапрапрабабка. Которая пекарню открыла.

– А она откуда его принесла?

– Не знаю. Никто не знает.

Нюта задумалась и молчала до самого поля.

Поле на вершине холма было большое, ровное, обнесённое по краю старой изгородью из жердей. Рожь давно сжали, и теперь там стояло жнивьё, короткое, жёлтое, присыпанное снегом. Но даже сейчас, под серым небом, оно казалось чуть светлее, чем земля вокруг, чуть теплее на вид, будто под снегом тлел невидимый огонь. Нюта спрыгнула с телеги, побежала к изгороди и сунула руку между жердей, потрогала стерню.

– Тёплая! – крикнула она. – Лука, она тёплая!

– Знаю.

– Нет, ты потрогай! Она правда тёплая! Снег на ней тает!

Лука привязал Сивку к столбу у мельничной избы и подошёл. Он потрогал. Стерня была тёплой. Но меньше, чем он помнил. Гораздо меньше. В детстве, когда он гулял здесь, пока бабушка говорила с мельником, поле в ноябре было тёплым, как печная лежанка, и он ложился на него животом и грелся, и даже снег на нём лежал только в ложбинках. А сейчас снег лежал везде, тонко, но лежал, и стерня под ним была едва тёплой, как рука человека, который долго стоял на ветру.

– Ты чего? – спросила Нюта, глядя на его лицо.

– Ничего, – сказал Лука. – Пойдём к деду.

Мельничная изба стояла под самой мельницей, приземистая, с одним окошком и с трубой, из которой шёл дым. Дверь была не заперта. Лука постучал, подождал, постучал громче. Изнутри донёсся голос, хриплый, ворчливый:

– Открыто! Не ломай, я не глухой!

Он был глухой, это знали все. Но он не любил, когда ему об этом напоминали.

Дед Овсей сидел у печи на низкой скамейке и чинил решето. Он был очень старый, такой старый, что Лука даже не мог представить его молодым. Маленький, сухой, с белой бородой до пояса, в валенках, в ватнике, в шапке-ушанке с одним опущенным ухом. Лицо его было коричневым и морщинистым, как печёное яблоко, а глаза – голубыми, выцветшими, но живыми и цепкими.

– А, Сеянов, – сказал он, подняв голову. – Младший. Ну, заходи. Я тебя с утра жду. Муку тебе отсыпал. Вон, в углу. – Он махнул рукой на мешки, сложенные у стены. – Шесть мешков. Больше нет.

– Шесть? – удивился Лука. – Бабушка всегда брала двенадцать.

– Бабушка брала двенадцать, когда рожь родилась. А нынче не родилась. – Дед Овсей отложил решето. – Это кто с тобой?

– Нюта. Она с севера. Живёт у меня.

– С севера, – повторил дед, глядя на Нюту. – С какого севера?

– Из Ольхов, – сказала Нюта громко.

– Не ори. Я слышу. – Дед помолчал. – Ольхи. Знаю Ольхи. Там Ветлугины живут. Петра Ветлугина знал. Он ко мне за мукой ходил, лет двадцать назад. Ты чья?

– Его внучка, – сказала Нюта удивлённо. – Деда Петра. Он умер, когда я маленькая была.

– Умер, – сказал дед Овсей, будто записал. – Все умерли. Один я, как пень. Садитесь. Чаю налью.

Они сели. Изба внутри была тесная, тёмная, тёплая. На стенах висели пучки сухих трав, связки лука, старые серпы, какие-то деревянные лопатки. На полке стояли жернова, маленькие, ручные, а на подоконнике – глиняная крынка с засушенными колосьями. Колосья были золотые и, казалось, слабо светились в полумраке. Дед налил им чаю из закопчённого чайника в глиняные кружки, крепкого, с какими-то травами, и сам сел обратно на скамейку.

– Почему не родилась? – спросил Лука.

– Потому что холодно, – сказал дед. – С июля холодно. Ты что, не заметил? Ты у печи сидишь, тебе всегда жарко. А я на поле. Я замечаю. В июле утром на поле роса была, как в сентябре. В августе раз заморозок ударил, ночью, шестнадцатого числа.

Нюта подняла голову.

– Шестнадцатого? – переспросила она.

– Шестнадцатого, – сказал дед. – Я помню, потому что Спас на следующий день был, я на Спас всегда первый сноп святить ношу. А в ту ночь ветер с севера пришёл, холодный, как из погреба. Я встал, вышел – рожь вся седая. Утром отошла. Не вся. Половина колосьев так и не налилась. Пустые. Я такого за семьдесят лет на этом поле не видел.

– У нас в ту ночь всё замёрзло, – сказала Нюта. – И не отошло.

Дед Овсей долго смотрел на неё. Потом кивнул, медленно, будто она подтвердила что-то, о чём он давно догадывался.

– Значит, оттуда шло, – сказал он. – Мимо вас, сюда. До нас дошло только краем. Хвостом. А вас накрыло.

– Что шло? – спросил Лука.

Дед не ответил. Он взял с подоконника крынку с колосьями, повертел её в руках.

– Ты про Агафью знаешь? – спросил он вдруг.

– Знаю, что она пекарню открыла.

– А про рожь?

– Что она первое зерно принесла. Больше ничего.

– Ничего, – повторил дед. – Ульяна тебе ничего не рассказала?

– Нет.

– Хм. – Дед поставил крынку обратно. – Значит, не успела. Или не хотела. Она тебя берегла. Говорила: пусть сначала руки научатся, а голова потом. Я ей говорил: Ульяна, не тяни. Мы с тобой старые. Помрём – кто ему скажет? А она смеялась. Говорила: я ещё сто лет проживу, Овсей, назло тебе.

Он помолчал. В печи треснуло полено.

– Не прожила, – сказал Лука.

– Не прожила, – согласился дед. – Ладно. Я тебе расскажу, что знаю. Немного. Остальное у неё в тетради. Она всё писала, ты знаешь.

– Какой тетради?

– Ну какой. Рецептурной. Клеёнчатой. Она с ней всю жизнь ходила. Она тебе не отдала?

Лука покачал головой. Он видел у бабушки много тетрадей, но клеёнчатой не помнил. Или помнил? Что-то шевельнулось в памяти: бабушка у стола поздно вечером, лампа, толстая тетрадь в зелёной обложке, блестящей, как мокрый лист. Бабушка закрывала её всякий раз, когда он подходил.

– Найдёшь, – сказал дед. – Она у тебя где-то дома. Ульяна ничего не выбрасывала. А теперь слушай.

Он отхлебнул чаю, пожевал губами, глядя в огонь.

– Агафья пришла сюда сто сорок лет назад. Говорят, с юга. Говорят, она была вдова, и у неё было трое детей, и у неё ничего не было, кроме корчаги с закваской и мешочка зерна. Здесь тогда не было города. Было село, маленькое, у реки. И зимы тогда были страшные. Шесть месяцев, семь. Люди мёрли. Каждую зиму кого-нибудь хоронили. А Агафья посеяла своё зерно

здесь, на холме, и оно взошло. И она стала печь из него хлеб, и люди, которые этот хлеб ели, не мёрзли. Это все знают. Это в каждой избе рассказывают. А дальше знают немногие.

– Что дальше? – тихо спросила Нюта.

– А дальше, – сказал дед, – в первую же зиму, в самую длинную ночь, Агафья пекла хлеб и испекла не такой, как обычно. Большой. Каравай. Круглый, как солнце. И понесла его не в село, а на край Пустошей. К Сторожевому камню. Знаешь, где это?

– Нет, – сказал Лука.

– Узнаешь. И отдала его там. А кому отдала – этого я не знаю. Ульяна знала. Её мать знала. Её бабка знала. Сеяновы каждый год, в самую длинную ночь, пекли этот каравай и несли туда. И каждый год приходили ко мне за последним снопом. Я его для них оставлял. Особый. Самый тёплый. С самого верха поля, с того угла, где солнце первым светит. Ульяна приходила за ним всегда на Николу, в декабре, в одно и то же утро. Сорок лет подряд. А мать её – ещё сорок до неё.

– Для каравая? – спросил Лука.

– Для каравая. Каравай для гостьи, она говорила. Гостья, мол, придёт, а у нас и угостить нечем. Я думал, шутит. Я её спрашивал: какая гостья? А она смеялась и говорила: белая.

Лука почувствовал, как по спине у него пробежал холодок, будто кто-то открыл дверь на мороз.

– Белая, – повторил он.

– Белая, – сказал дед. – Больше ничего не знаю. Ульяна не говорила. Сноп в этом году я тоже оставил. Он у меня в риге. Плохой сноп, полупустой, но какой есть. Хочешь – бери.

– А зачем он мне, если я не знаю, что с ним делать?

– Вот и я про то, – сказал дед Овсей. – Вот и я про то, Сеянов. Ищи тетрадь.

Они погрузили мешки на телегу. Шесть мешков солнечной муки вместо двенадцати. Сноп Лука брать не стал. Он подержал его в руках, в холодной темноте риги, жёлтый, лёгкий, с колосьями, которые и вправду были наполовину пустыми, и положил обратно на полку. Сноп был тёплым, теплее, чем поле. Но и он остывал, Лука чувствовал это, как чувствуют руку больного.

– Пусть лежит, – сказал он деду. – Я приду за ним. Когда пойму.

– Только не опоздай, – сказал дед Овсей. – Самая длинная ночь через месяц.

– А если опоздаю?

Дед посмотрел на него своими выцветшими голубыми глазами и ничего не ответил.

Когда они выехали с поля, уже темнело. Нюта сидела на мешках, закутавшись в тулуп, и молчала. Сивка шла медленно, осторожно ставя копыта на скользкую дорогу. Внизу, за рекой, в Медунице зажигались огни, жёлтые, тёплые, маленькие, как зёрна в горсти.

– Лука, – сказала вдруг Нюта.

– Что?

– Белая гостья. Это кто?

– Не знаю.

– А ты как думаешь?

Он не ответил. Он думал о бабушке, о её смехе, о клеёнчатой тетради, которую она закрывала, когда он подходил. О кирпиче с колоском. Помни. О словах Матрёны Ивановны: «Я поняла, кому я пеку».

– Я думаю, – медленно сказал он, – что бабушка очень многого мне не сказала.

– Почему?

– Хотела, чтоб я сам научился. А потом не успела.

Нюта подумала.

– Моя мамка тоже так, – сказала она. – Она мне про отца ничего не говорит. Говорит: вырастешь – скажу. А я спрашиваю: а если ты раньше помрёшь? А она смеётся. Как твоя бабушка.

– Все они смеются, – сказал Лука.

Они переехали мост Трёх Лип уже в темноте. Липы скрипели. Река внизу почти вся покрылась льдом, только посередине оставалась узкая чёрная полоса, где вода ещё бежала, дымясь на морозе. Нюта, свесившись с телеги, долго смотрела на эту полосу.

– У нас ручей так же вставал, – сказала она. – Сначала по краям. Потом посерёдке. А потом весь.

Лука ничего не ответил.

Дома, в пекарне, было тепло. Печь, растопленная ещё утром, держала жар, как держала всегда после того, как её починила Агния. Они разгрузили мешки и сложили их в кладовой. Шесть мешков заняли так мало места, что Лука долго стоял в дверях и смотрел на пустые полки рядом.

– Хватит до весны? – спросила Нюта.

– Если печь, как всегда, – нет. До февраля хватит.

– А если меньше?

– Если меньше, людям не хватит.

– А если весна рано придёт?

– Тогда хватит.

Нюта кивнула, будто это всё решало.

Вечером, когда она уснула, а тесто на завтра стояло под полотном, Лука начал искать. Он перебрал бабушкин сундук, где лежали её платья, платки, нитки и пуговицы в жестянке. Перебрал комод, полку над кроватью в её маленькой комнате за пекарней, куда он с апреля почти не заходил. Нашёл старые счета, письма от двоюродной сестры из Вышеграда, вышитый рушник, связку сухой мяты, очки, которые она давно не носила. Нашёл свою детскую распашонку и деревянную лошадку, которую сам вырезал в восемь лет. Нашёл даже засохший букетик полевых цветов, перевязанный ниткой, с запиской: «Ульяне от Ф., в Полдень года». Кто такой Ф., он не знал. Клеёнчатой тетради не было нигде. Только на верхней полке над кроватью, за коробкой с нитками, в слое пыли, которую Лука с апреля ни разу не вытирал, он заметил чистый прямоугольник. Ровный, большой, как раз такой, какой остаётся, если долго держать на одном месте толстую книгу, а потом её взять. Пыль вокруг лежала густо, а внутри прямоугольника её почти не было. Значит, тетрадь стояла здесь долго, годами. И кто-то забрал её незадолго до того, как бабушка слегла, когда пыль ещё не успела лечь заново. Бабушка сама её переложила. Куда-то, где он не найдёт её сразу. Лука провёл пальцем по краю прямоугольника и вдруг улыбнулся в темноте, впервые за этот день. Это было так на неё похоже. Она всю жизнь прятала от него варенье, подарки к именинам и старые фотографические карточки, и всякий раз прятала так, чтобы найти было трудно, но можно.

Он сел на бабушкину кровать, застеленную ещё ею, покрывалом с кистями, и долго сидел так в темноте.

– Где ты её спрятала? – спросил он вслух.

Тишина. Только в пекарне, за стеной, тихо мурлыкал Уголёк у печи, и Матушка в корчаге пускала пузыри.

– Ладно, – сказал Лука. – Найду.

Но он её не нашёл. Ни в ту ночь, ни в следующую, ни через неделю. А потом выпал снег.

Глава 6. Первый снег

Снег пришёл в ночь на пятнадцатое ноября, на две недели раньше, чем приходил в Медуницу на памяти самых старых старух.

Он пришёл не так, как приходит обычно, – не робкой крупой, не мокрыми хлопьями, которые тают на лету и превращают улицы в кашу. Он пришёл сразу и всерьёз, как приходит хозяин в дом, где его давно ждали. В полночь небо было ещё чёрным и звёздным, а в час ночи, когда Лука вышел на крыльцо за дровами, звёзд уже не было, и воздух был полон медленного, густого, беззвучного снега, такого крупного, что каждая снежинка была видна отдельно в свете фонаря на углу. Снег падал прямо вниз, без ветра, и ложился на ступени, на перила, на поленницу, на плечи Луки, и не таял.

Лука постоял, глядя вверх. Снежинки садились ему на ресницы.

Рано, подумал он. Слишком рано.

К утру снега было по колено. Калачная стала белой, ровной и тихой, как скатерть на поминках. Заборы утонули по середину, крыши отяжелели, на колокольне шапкой лежал сугроб. Мальчишки с Гончарного проулка, Митька и Сенька, пришли к пекарне по горло в снегу, прорывая себе дорогу, как кроты, и радовались так громко, что их было слышно за квартал.

– Дядя Лука! Снег! Санки можно!

– Можно, – сказал Лука, давая им горбушки.

– А на реку можно?

– На реку нельзя.

– Почему?

– Лёд тонкий.

– А нам Гончаров-старший сказал, что за ночь встал.

– Встал, да тонкий. Не ходите.

Мальчишки переглянулись и, как понял Лука по их лицам, решили, что обязательно пойдут. Он вздохнул. Бабушка в таких случаях говорила: «Скажи им ещё раз, громче», и они шли всё равно, а потом приходили мокрые до пояса и она сушила их у печи и кормила летним хлебом, и ругалась, и смеялась.

– Если пойдёте и провалитесь, – сказал он, – приходите сюда. Сразу. Не домой. Сюда.

– Ладно! – закричали они и убежали.

Нюта стояла на крыльце, закутанная в новый платок Матрёны Ивановны, и смотрела им вслед с выражением, в котором было мало радости.

– Они не знают, – сказала она.

– Чего не знают?

– Что он не уйдёт.

Лука посмотрел на неё.

– Снег всегда уходит, – сказал он. – Весной.

– У нас не ушёл.

Он не нашёл, что ответить. Он и сам, стоя ночью на крыльце, думал о том же.

В тот же день в пекарню пошли люди. Пошли сразу и много, как никогда в ноябре. Летний хлеб, который обычно брали понемногу, раз в несколько дней, от случая к случаю, разобрали за час. Лука выставил обычный, и обычный тоже разобрали. Потом пришли ещё – и уходили ни с чем, ворча.

– Лукаша, ты бы больше пёк, – сказала Матрёна Ивановна, забежав в обед. Она была румяная, взволнованная, снег на её платке не таял. – Весь город к тебе собирается. Я у себя в чайной слышала. Говорят, зима нынче будет лютая, говорят, с севера беда идёт, говорят,

хуторские все пропали. Это Гаврила Сомкин не вернулся ещё, а уже говорят. Люди боятся. Людям летнего хочется.

– Мука, – сказал Лука.

– Что мука?

– Шесть мешков. До февраля. Если больше печь – до января.

Матрёна Ивановна охнула.

– Шесть? Как шесть? Ульяна всегда двенадцать брала!

– Рожь не родилась.

Матрёна Ивановна посмотрела на него долго, и её румянец медленно сошёл.

– Так, – сказала она. – Никому не говори. Слышишь? Никому. А то начнётся. Я знаю людей. Начнут скупать, в погреба прятать. Богатые все заберут, бедным не достанется. Пеки как пёк. И продавай по одному в руки. Скажи, что так всегда было. Я подтвержу.

– Так не всегда было.

– Неважно. Я подтвержу.

Она убежала обратно в чайную, где уже набилось народу больше, чем стульев, и Лука слышал из своего окна, как она там распоряжается, громко и весело, разливая чай из огромного самовара, и как народ смеётся над её шутками. Он вдруг понял, что Матрёна Ивановна делает то же, что и он: печёт. Только не хлеб, а что-то другое, без чего людям тоже холодно.

После обеда пришла Агния. Она пришла не одна: за ней, на санках, привязанных верёвкой к её поясу, ехали валенки. Большие, маленькие, серые, чёрные, новые и старые, целая гора.

– Это что? – спросил Лука.

– Это Нюте. – Агния стряхнула с тулупа снег, вошла, по-хозяйски поставила санки у печи. – Я не знала, какой размер, взяла все. У меня полгорода в должниках, мне печники валенками платят, когда денег нет. Пусть меряет.

Нюта, сидевшая у стола и чистившая картошку, уставилась на валенки так, будто это был сундук с золотом.

– Это всё мне?

– Нет, одну пару. Остальное верну. Меряй давай.

Нюта мерила долго. Она надевала пару, ходила по пекарне, топала, приседала, подпрыгивала, снимала, надевала другую. Агния сидела на лавке, вытянув ноги, и смотрела на неё с таким выражением, которого Лука у неё раньше не видел. Мягким.

– Эти, – сказала наконец Нюта. Она стояла в серых валенках с красной вышивкой по голенищу, маленьких, аккуратных, явно девичьих. – Можно эти?

– Это моей сестры были, – сказала Агния. – Она из них выросла давно. Бери.

– А сестра не обидится?

– Сестра в Вышеграде замужем, у неё своих детей трое. Не обидится.

– Спасибо, – сказала Нюта, и это было первое «спасибо», которое Лука от неё услышал. Не «я верну» и не «я отработаю», а просто «спасибо».

Агния кивнула, будто это было само собой разумеющимся, и повернулась к Луке.

– А ты чего такой?

– Какой?

– Как будто тебе гвоздь в сапог попал. Что случилось?

Он рассказал. Про шесть мешков, про деда Овсея, про пустые колосья, про сноп в риге. Про Агафью, которая шла к Сторожевому камню с караваем в самую длинную ночь. Про белую гостью. Про тетрадь, которую он не может найти. Он говорил долго, сбивчиво, перескакивая, а Агния слушала, не перебивая, и только один раз, когда он дошёл до кирпича с колоском, тихо сказала: «Ага». Нюта слушала тоже, сидя на полу в новых валенках и обнимая кота.

– Белая гостья, – сказала Агния, когда он замолчал. – Мне бабка что-то такое рассказывала. Сказку. Про то, что зима – это женщина, и что она приходит из-за гряды, и что если её

не накормить, она не уйдёт. Я думала, это просто сказка. Детей пугать. Чтоб зимой из дома не выходили.

– А может, не сказка, – сказала Нюта из угла.

Агния посмотрела на неё.

– Может, и не сказка, – согласилась она. – Только мы-то что можем?

– Не знаю, – сказал Лука. – Мне надо найти тетрадь.

– Найдём. Я помогу. Я у вас в доме все щели знаю, я печь вашу два раза перекладывала. – Агния встала. – Но не сегодня. Сегодня я к Горшениным, у них после поминок печь дымит, вдова плачет. А завтра приду.

Она ушла, и вместе с ней, показалось Луке, ушло что-то тёплое, будто из печи вынули одно полено.

Не прошло и часа, как дверь распахнулась без стука, и в пекарню ввалились Митька и Сенька. Вернее, ввалился Митька, волоча за шиворот Сеньку, а Сенька был мокрый с головы до пят, и с его тулупа на пол текла вода, а штаны на морозе уже встали колом и звенели при каждом шаге. Губы у него были синие. Он не плакал, только стучал зубами так, что было слышно на всю пекарню.

– Провалился, – сказал Митька очень быстро, будто боялся, что его перебьют. – У самого берега, дядя Лука, у самого, там мелко, я его за руку вытащил. Вы сказали сюда. Мы сюда.

– Молодцы, – сказал Лука. Он уже стаскивал с Сеньки тулуп. – Нюта, одеяло. И воды в чайник.

Нюта метнулась так быстро, будто всю жизнь только и делала, что вытаскивала мальчишек из полыньи. Через минуту Сенька, раздетый до рубахи, сидел у самого устья печи, закутанный в бабушкино лоскутное одеяло, а Нюта растирала ему ноги шерстяным носком, ругаясь вполголоса словами, которых Лука от одиннадцатилетней девочки никак не ожидал.

– Ты дурак, – говорила она. – Ты дурак, ты знаешь, что лёд в первую неделю какой? Он как бумага. Под ним вода живая, она его снизу ест. У нас на ручье парень так провалился, его до весны искали.

– Я не знал, – стучал зубами Сенька.

– Теперь знаешь.

Лука отрезал от последнего утреннего каравая ломоть, сунул Сеньке в руку. Сенька съел его в два укуса, и через несколько минут синева сошла у него с губ, щёки покраснели, и он перестал трястись. От мокрой рубахи, висевшей у печи, пошёл пар, и в пару, Лука мог поклясться, запахло тёплой речной водой в июльский полдень.

– Ух, – сказал Сенька, как говорил всегда. А потом вдруг посмотрел на Луку очень серьёзно и спросил: – Дядя Лука, а под льдом кто живёт?

– Рыба.

– Нет. Не рыба. Я когда провалился, я глаза открыл. Там подо льдом светло было. Белое всё. И кто-то на меня смотрел.

Нюта перестала растирать ему ноги.

– Тебе показалось, – сказал Лука. – В холодной воде всегда кажется.

– Может, – сказал Сенька и зевнул. – Только она красивая была.

– Кто – она?

Но Сенька уже засыпал у печи, привалившись к тёплым кирпичам, и не ответил. Через час за ним прибежала мать, перепуганная, растрёпанная, и унесла его домой на руках, рассыпаясь в благодарностях. Митька ушёл следом, гордый, как герой. А Нюта долго сидела на полу у печи, глядя на мокрое пятно, оставшееся от Сенькиной одежды.

– Он видел, – сказала она наконец тихо.

– Что видел?

Она не ответила. Только плотнее обхватила колени руками.

Вечер пришёл рано. В ноябре темнело в четыре, а со снегом и того раньше: небо было низким, серым, и снег падал из него без остановки, мягко, тихо, монотонно. Лука закрыл лавку, поставил тесто на завтра, покормил Матушку. Нюта помогала. Она уже знала, где лежит соль, где мёд, где какая ложка. Она уже знала, что тесто нельзя трогать ладонью, а только тыльной стороной пальцев. Она запоминала всё с одного раза, как запоминают дети, которым никто раньше ничего не показывал и которые от этого жадны до каждого слова.

– Дай я помешу, – сказала она, когда Лука начал замес обычного хлеба на утро.

– Тяжело.

– Я корову доила. Это тяжелее.

– Ну попробуй.

Он отошёл. Нюта встала на табурет, чтобы доставать до дежи, засучила рукава платья Матрёниной дочери, которое было ей велико, и запустила руки в тесто. Сначала у неё ничего не получалось. Тесто липло к пальцам, тянулось, не хотело собираться. Она злилась, пыхтела, сдувала со лба волосы. Лука смотрел и не вмешивался. Бабушка тоже не вмешивалась, когда он учился, – стояла и смотрела, и только иногда говорила: «Не дави. Уговаривай».

– Не дави, – сказал он. – Уговаривай.

– Как это – уговаривай?

– Ну. Как Уголька уговариваешь, чтоб в мешок полез.

Нюта подумала. Потом её руки стали двигаться по-другому, медленнее, мягче. Она подворачивала тесто к себе, прижимала, поворачивала. И вдруг тесто послушалось. Собралось в ком, гладкий, упругий, отстало от стенок дежи. Нюта ахнула.

– Получилось!

– Получилось, – сказал Лука.

– Оно меня послушалось!

– Послушалось.

Она смотрела на тесто так, как смотрят на первого в жизни пойманного зверька: с восторгом и опаской. И Лука, глядя на неё, вдруг вспомнил себя в двенадцать лет, у этой самой дежи, на этом самом табурете, и бабушку рядом, и её руку на его плече, и её голос: «Ну вот. Теперь ты пекарь. Немножко».

– Ну вот, – сказал он. – Теперь ты пекарь. Немножко.

Нюта посмотрела на него с подозрением.

– Ты смеёшься?

– Нет.

– Смеёшься. У тебя глаза смеются.

– Это они от печи.

Она фыркнула, но было видно, что ей приятно.

В семь часов пришла Агния. Сказала, что у Горшениных печь починила быстро, там просто заслонку заело, и что идти домой через весь город по сугробам ей лень, а у Луки, мол, всё равно самовар. Самовара у Луки не было, был чайник. Но Агния принесла с собой связку баранок и кусок сала от вдовы Горшениной, и они сели ужинать втроём. Стол у окна, лампа, чайник, баранки, сало, картошка, которую почистила Нюта, и на тарелке посредине – последняя маленькая буханка летнего хлеба с косичкой.

Лука хотел отдать её Нюте. Нюта отказалась.

– Я вчера ела. Ты сам ешь. Ты не ешь никогда.

– Я не хочу.

– Хочешь. Ты на неё смотришь.

– Не смотрю.

– Смотришь, – сказала Агния. – Я тоже видела. Ешь, Сеянов. Как Матрёна говорит? Пекарь, который не ест своего хлеба…

– Это как поп, который не молится, – закончила Нюта. Она уже успела выучить все Матрёнины поговорки.

Лука посмотрел на них. Потом взял буханку, разломил на три части.

– Тогда все, – сказал он.

Они ели молча. Лука съел свой кусок и ждал. Он давно, с апреля, не ел своего летнего хлеба. Он боялся. Он думал, что будет, как с Матрёной Ивановной: тепло до полудня, а потом – как отрезало. Только сейчас был вечер, и он не знал, сколько отпустит ему его собственный хлеб, и не хотел знать.

Но тепло пришло. Не сразу. Сначала просто разошлось в груди, как от горячего чая. Потом добралось до рук, и обожжённые пальцы перестали ныть. Потом – до головы, и в голове стало ясно и спокойно, будто кто-то открыл окно в душной комнате. И запахло. Не хлебом и не печью. Запахло июлем: скошенной травой, сохнущей на солнце, речной водой, нагретой у берега, и чуть-чуть – дымом от костра, на котором варят уху. Лука закрыл глаза. Он увидел берег Яси летом, мостки, отца, который учит его плавать, держа широкой ладонью под живот, и мать на берегу, смеющуюся, в синем платке. Он не вспоминал их так давно, что почти забыл их лица. А сейчас увидел ясно, каждую морщинку у глаз отца, каждую прядь, выбившуюся из-под материнского платка.

Он открыл глаза. Агния смотрела на него через стол.

– Ну? – тихо спросила она.

– Река, – сказал он. – Отец.

Она кивнула и ничего не сказала. Нюта сидела, подперев щёку кулаком, и улыбалась чему-то своему, и на щеках у неё был румянец.

Они сидели так долго. Снег за окном падал и падал. Лампа горела ровно. Уголёк спал у печи, раскинув лапы, и иногда во сне подёргивал белым ухом. Агния рассказывала про Горшениных, про вдову, которая плакала над заслонкой, и про то, как в трубе у них нашлась старая серебряная ложка, которую потеряли тридцать лет назад. Нюта рассказывала про Ольхи, про корову Зорьку, про то, как Стёпка упал в колодец, когда ему было три года, и как она его оттуда вытаскивала на ведре. Лука почти не говорил. Он слушал. Ему было тепло. Не от хлеба, а от того, что в пекарне, впервые с апреля, было людно, и пахло баранками, и кто-то смеялся.

Около десяти Нюта уснула прямо за столом, положив голову на руки. Лука отнёс её на лавку. Агния помогла укрыть одеялом.

– Тебе домой, – сказал Лука.

– Мне домой, – согласилась Агния. Но не ушла. Стояла у печи, грея руки. – Сеянов.

– Что?

– Ты сегодня улыбался. Три раза. Я считала.

– Ты как Матрёна.

– Я хуже. – Она помолчала. – Тебе идёт. Улыбаться.

Он не нашёл, что сказать. Агния натянула тулуп, взяла свои санки с оставшимися валенками и пошла к двери.

– Завтра приду, – сказала она с порога. – Искать тетрадь.

– Приходи.

Она ушла. Лука стоял у окна, глядя, как она идёт по сугробам, проваливаясь по колено, таща за собой санки. Фонарь на углу освещал её тулуп, её платок, её косу, выбившуюся из-под платка, и снег, падавший на неё мягко и густо.

Утром Матрёна Ивановна постучала в окно.

– До шести вечера, Лукаша, – сказала она взволнованно. – Вчерашний хлеб. До шести! Я весь день в чайной ходила как в июне!

Лука удивился. Вчерашний хлеб он пёк как всегда. Ничего не менял. Разве что Нюта сказала над ним свою приговорку: «И Стёпку согрей». Разве что вечером в пекарне было трое, а не один.

Он записал это в тетрадку. «Пятнадцатое ноября. Летний хлеб до шести вечера. Ничего не менял. Вечером были Агния и Нюта». И долго смотрел на эту запись, пытаясь понять, есть ли тут связь, или это просто совпадение, просто снег, просто случайность.

Снег падал весь день. И весь следующий. И ещё один.

Глава 7. Ярмарка Солнцеворота

Гаврила Сомкин вернулся на восемнадцатый день, первого декабря, в сумерках, пешком, ведя в поводу хромающую гнедую кобылу.

Его увидели мальчишки, катавшиеся с берега у моста Трёх Лип, и прибежали в город с криком, и к тому времени, как урядник дошёл до Торговой площади, за ним шла уже целая толпа. Лука в это время стоял у окна пекарни и видел, как толпа течёт мимо, вниз по Калачной, к ратуше, и как Нюта, сидевшая у стола с ножом и картошкой, вдруг роняет нож, вскакивает, хватает платок и выбегает на улицу в одних валенках, без тулупа. Он схватил её тулуп и выбежал следом.

Гаврила был страшен. Башлык, тот самый, тонкий, про который говорила Нюта, обмёрз на нём коркой, и из-под корки торчал почерневший нос. Брови и усы были белыми от инея. Он шёл медленно, переставляя ноги так, будто они были деревянные, и не отвечал ни на какие вопросы. Кобыла шла за ним, опустив голову до самой земли.

У ратуши его ждал Пальчиков. Без шапки, в одном сюртуке, с бакенбардами, которые растрепал ветер. Он сам сбежал по ступеням, сам взял Гаврилу под руку.

– Ну? – спросил он. – Ну, Сомкин?

Гаврила посмотрел на него так, будто не узнавал. Потом разлепил губы.

– Не прошёл, ваше благородие.

– Куда не прошёл?

– Никуда. До Ржавого бора дошёл. Там снег, ваше благородие. Как она говорила. – Он кивнул на Нюту, которая протиснулась вперёд. – Как стена. По одну сторону жухлая трава, ну, тогда ещё была, а по другую – снег. Я въехал. До Сухой балки кое-как. За балкой коню по грудь. Дальше по пояс самому. Я три дня шёл. Шёл бы ещё, да ночью ударило так, что у меня фляга лопнула. Я понял, что не дойду. Повернул.

– Людей видел? – спросил Пальчиков.

– Никого. Ни следа. Ни дыма. Только вот… – Гаврила замолчал.

– Что?

– Ночью. На второй день. Я у костра сидел. А на опушке кто-то стоял. Высокий. Белый. Я думал – берёза. А утром там берёзы не было.

Толпа зашепталась. Пальчиков побледнел.

– Устал ты, Сомкин, – сказал он, но голос его дрогнул. – Пойдём. Пойдём, тебе надо в тепло.

Гаврила не двинулся. Он нашёл глазами Луку в толпе.

– Сеянов, – сказал он. – Твой хлеб. Тот, что для мальчонки. Я его съел.

Нюта рядом с Лукой окаменела.

– Прости, девка, – сказал Гаврила, уже ей. – Я не хотел. На третью ночь у меня огонь погас, а дров не было, всё под снегом. Я думал, конец. Сидел, а руки уже не чуял. И вспомнил про хлеб. Отломил кусочек. Только кусочек хотел. А потом весь съел. И тепло стало. До утра. Я до утра дотянул, а утром повернул. Если б не хлеб, меня бы там и нашли весной.

Нюта молчала. Лука видел, как у неё дрожит подбородок. Потом она сказала очень тихо:

– Ничего. Значит, так надо было.

Гаврилу увели. Толпа ещё долго не расходилась, гудела, переговаривалась, и Лука слышал в этом гудении слова, которые потом будут повторять по всему городу: «стена», «белый», «по пояс», «за Сухой балкой». Пальчиков в тот же вечер заперся в кабинете и не выходил до утра. А назавтра на дверях ратуши появилось объявление, написанное его аккуратным почерком: «Жителям города Медуницы. В связи с суровыми погодными условиями на севере губернии всем домохозяевам рекомендуется запастись дровами и провизией сверх обычного. Голова

А. Ф. Пальчиков». Больше в нём не было ни слова. Но Матрёна Ивановна, прочитав его, сказала, что Аристарх наконец испугался по-настоящему, а это значит, что дело серьёзное.

Все эти недели, с середины ноября, Лука и Агния искали тетрадь. Агния приходила по вечерам, после работы, и они перебирали дом по доске. Она простукивала стены, лазила под половицы, проверяла каждую печную нишу и каждый продух. Они нашли за печью дохлую мышь, в подполе – бочонок мочёных яблок, забытый бабушкой лет пять назад, на чердаке – старые санки Луки и мешок с бабушкиными письмами от сестры. Агния нашла в стене тайник, маленький, за отходящим кирпичом, и они оба ахнули, а в тайнике оказались только серебряные серьги, бабушкино приданое, завёрнутые в бумажку с надписью: «Луке на свадьбу». Лука долго держал эту бумажку в руках, а Агния отвернулась к окну.

Тетради не было.

Сторожевой камень тоже не находился. Лука спрашивал всех, кого мог. Отец Никодим вспомнил, что в старых церковных книгах есть запись о межевых камнях на северной границе прихода, но книги сгорели в том самом пожаре тридцать лет назад. Матрёна Ивановна слышала, что на краю Пустошей есть «Бабий камень», куда в старину ходили гадать на женихов, но где он, не знала. Дед Овсей, когда Лука снова приехал к нему, сказал, что Ульяна всегда ходила одна, через северный выгон, через ельник, и что возвращалась к утру, а куда именно – не говорила, а он не спрашивал.

– Север большой, Сеянов, – сказал дед. – Камней на краю Пустошей сотня. Иди наугад – может, и попадёшь.

– А если не попаду?

– А если не пойдёшь – точно не попадёшь.

Девятнадцатого декабря, на Николу, Лука поехал на Полуденный холм за снопом. Ехал один, на Сивке, по дороге, которую кое-как пробили сани. Поле стояло под снегом, белое, плоское, и ничем уже не отличалось от земли вокруг. Ни проталинки. Ни пара над стернёй. Дед Овсей вынес сноп из риги молча и отдал ему в руки. Сноп был лёгкий, сухой, и только в самой середине, если прижать его к щеке, чувствовалось слабое, едва заметное тепло, как у засыпающей птицы.

– Как будешь печь? – спросил дед.

– Не знаю. Как обычный. Только большой.

– Ульяна пекла не как обычный.

– А как?

– Не знаю. Я не смотрел. Она меня близко не подпускала.

Лука обмолотил сноп сам, вечером, на чистой холстине, по старинке, цепом, который нашёл на чердаке. Зерна вышло немного, две горсти. Он смолол его на ручных жерновах, которые дал дед Овсей, медленно, вручную, почти всю ночь. Нюта сидела рядом и подсыпала зерно в горловину ложкой, по чуть-чуть. Мука вышла тёмная, крупная, с золотыми искрами. Её едва хватало на один каравай, если подмешать обычной солнечной.

– А что ты в него положишь? – спросила Нюта.

– То же, что всегда. Муку. Воду. Матушку. Мёд. Соль.

– А если надо другое?

– Если надо другое, я не знаю, что.

Нюта подумала.

– А ты положи туда что-нибудь от себя. Ну, как я Стёпку тогда сказала.

Лука посмотрел на неё. Потом кивнул.

– Положу.

Но он не знал, что положить. Он месил каравай двадцатого числа, вечером, и шептал бабушкину приговорку, и думал о бабушке, и о родителях, и о Нюте, и о Стёпке, которого никогда не видел, и о чём-то ещё, неясном и большом, чему он не мог найти имени. Каравай

поднялся хорошо. Он посадил его в печь ночью и вынул на рассвете двадцать первого, и каравай вышел огромным, круглым, тёмно-золотым, с трещиной по боку, похожей на улыбку.

– Красивый, – сказала Нюта.

– Красивый, – сказал Лука.

Он не знал, тот ли это хлеб. Он не знал, кому его нести и куда. Он знал только, что завтра – самая длинная ночь, и что надо идти.

А днём двадцать первого была ярмарка.

Ярмарку Солнцеворота в Медунице проводили всегда, сколько стоял город. Зимой, в самые короткие дни, когда солнце едва поднималось над крышами и через несколько часов снова падало за Полуденный холм, люди выходили на Торговую площадь и праздновали то, что, как говорили старики, с завтрашнего дня день начнёт прибывать. На площади ставили балаганы и лотки, торговали пряниками, медовыми и мятными, сбитнем, калёными орехами, деревянными игрушками, глиняными свистульками в виде птиц. Посреди площади строили большую снежную гору, с которой катались на санках, и ставили соломенного медведя в рост человека, которого в полночь поджигали, и пока он горел, все пели. Зачем медведь и почему его жгут, никто не помнил. Бабушка говорила, что это для того, чтобы было светло. Больше она ничего не говорила.

В этом году ярмарку чуть не отменили. Пальчиков ходил в сомнениях два дня, советовался с отцом Никодимом и с писарями, но в конце концов махнул рукой: люди напуганы, им нужен праздник. И праздник был. Площадь с утра заполнилась народом. Мороз стоял крепкий, щипал щёки, но никто не жаловался, а балаганщики кричали так весело, что даже Лука, стоявший за своим лотком у края площади, иногда улыбался.

Лоток ему поставила Агния, сама сколотила из досок за одно утро. Лука продавал летний хлеб. Только маленькие буханки, по одной в руки, как советовала Матрёна Ивановна. Очередь к его лотку стояла с самого утра и не кончалась. Люди брали хлеб бережно, прятали за пазуху, некоторые тут же отщипывали кусочек и ели прямо на морозе, и закрывали глаза, и стояли так немного, а потом уходили, и на лицах у них было то самое выражение, которое Лука видел у Сеньки в первый день: как будто они вспомнили, что лето бывает.

Нюта помогала ему, заворачивала хлеб в бумагу и считала деньги. Считала она быстро и никогда не ошибалась. Ксеня Пальчикова, которую отец всё-таки отпустил на ярмарку с кухаркой, весь день стояла рядом с Нютой и тоже помогала, хотя толку от неё было немного. Девочки шептались, смеялись, ели пряники и бегали кататься с горы, возвращаясь красные, обсыпанные снегом, счастливые.

– Твой папа тебя одну отпустил? – спросила Нюта.

– С кухаркой. Только кухарка сбитень пьёт у балагана. – Ксеня хихикнула. – Она папе не скажет.

– А ты?

– И я не скажу.

Около полудня к лотку подошёл Пальчиков. Он подошёл не с той стороны, где стояла очередь, а сбоку, будто случайно, в шубе с бобровым воротником и в высокой шапке, и долго делал вид, что разглядывает соседний балаган с глиняными игрушками. Потом всё-таки повернулся к Луке.

– Сеянов.

– Аристарх Филимонович.

– Ксеня у тебя?

– У меня. Вон, с Нютой, на горе.

Пальчиков посмотрел на гору, на двух девочек, летевших вниз на одних санках с визгом, от которого шарахались вороны, и лицо у него на мгновение стало таким, каким, наверное, бывало только дома.

– Пусть, – сказал он. – Пусть катается. – Помолчал. – Сомкин отходит. Лекарь говорит, нос спасут, а два пальца на ноге – нет. Он всем рассказывает про твой хлеб. Весь лазарет знает.

– Пусть рассказывает.

– Пусть, – повторил Пальчиков. Он снова помолчал, потом сказал тихо, почти не шевеля губами, так, чтобы не слышала очередь: – Ты мне скажи, Сеянов. Только честно. Это что, правда? То, что девчонка говорит. Что там стенка. Что оно идёт сюда.

Лука посмотрел на него. Голова города стоял перед ним в бобровой шубе, с бакенбардами, побелевшими от инея, и в глазах у него был тот же страх, что у Сеньки, когда тот спрашивал: «А если вы помрёте?»

– Не знаю, – сказал Лука. – Знаю, что снег на две недели раньше. Знаю, что муки у меня в этом году вполовину. Знаю, что Сомкин видел то, что видел.

– Муки вполовину? – Пальчиков вздрогнул. – Почему мне не доложили?

– Я вам докладываю.

Пальчиков открыл рот, закрыл. Потом достал из кармана записную книжку в сафьяновом переплёте, что-то записал карандашом, послюнив его, и спрятал книжку обратно.

– Дай буханку, – сказал он. – Две. Одну Ксене, одну Сомкину в лазарет.

– По одной в руки.

Пальчиков посмотрел на него с изумлением, потом с обидой, потом, неожиданно, с чем-то похожим на уважение.

– По одной, – сказал он. – Правильно. Тогда одну. Сомкину. Ксеня твоя и так сыта.

Он взял буханку, расплатился серебром и не стал ждать сдачи. Отошёл, но через несколько шагов обернулся.

– Ульяна тоже так говорила, – сказал он. – «По одной в руки, Аристарх, хоть ты и голова». Мне тогда было лет двадцать. Отец меня к ней за хлебом посылал.

И ушёл в толпу, прежде чем Лука успел спросить, почему отец посылал за хлебом именно его.

Агния появилась после обеда, с огромным пряником в виде петуха, который она торжественно вручила Нюте. Она тоже весь день была на ярмарке: у неё здесь был свой лоток, где торговали печные изразцы её деда и её собственные свистульки, которые она лепила по вечерам из остатков глины. Свистульки были в виде птиц: снегирей, синиц, сов. Нюта получила сову.

– Свисти, – сказала Агния.

Нюта свистнула. Сова отозвалась таким пронзительным, чистым, переливчатым звуком, что вся очередь у Лукиного лотка обернулась, а какой-то мужик крякнул и сказал: «Как соловей в мае».

Вечером на площади зажгли фонари, а в полночь, как положено, подожгли соломенного медведя. Он вспыхнул сразу, весь, от лап до ушей, и пламя поднялось выше крыш, и вся площадь осветилась жёлтым, тёплым светом, и люди запели. Пели старую песню, которую в Медунице пели только раз в году, у горящего медведя, и которую Лука знал с детства, хотя никогда не задумывался над словами:

«Солнце, солнышко, вернись,
По снегам покатись,
Мы тебе хлеба дадим,
Мы тебя теплом сладим,
А гостье белой – каравай,
Чтоб ушла за дальний край».

Лука стоял у своего пустого лотка и слушал. И вдруг услышал по-настоящему. А гостье белой – каравай. Чтоб ушла за дальний край.

Он обернулся к Агнии. Агния стояла рядом и смотрела на него. Она тоже услышала.

– Сеянов, – сказала она.

– Слышу.

– Это же…

– Слышу.

Вся площадь пела. Пели старухи и дети, пели купцы и мастеровые, пели отец Никодим и Пальчиков на крыльце ратуши, пела Матрёна Ивановна у своей чайной. Пели про белую гостью и про каравай, и никто, ни один человек на этой площади не понимал, о чём поёт. Песня пережила своё значение, как пустая скорлупа переживает орех.

Медведь догорел. Люди начали расходиться. Лука и Нюта собрали лоток и пошли домой. Агния проводила их до пекарни и ушла к себе, сказав, что вернётся завтра к вечеру, что пойдёт с Лукой, куда бы он ни шёл, и что спорить с ней бесполезно.

Нюта уснула не сразу. Она лежала на лавке, сжимая в руке свистульку-сову, и смотрела в окно, на тёмную Калачную, на снег, на фонарь на углу. Лука сидел у печи и смотрел на каравай, который лежал на полке рядом с Матушкой и кирпичом, огромный, тёмный, завёрнутый в чистый рушник.

– Лука, – позвала Нюта шёпотом.

– Что?

– Иди сюда. Посмотри.

Он подошёл к окну. Нюта показывала рукой. Там, внизу, в конце Калачной, у самой реки, где улица обрывалась крутым спуском к мосту Трёх Лип, стояла фигура. Высокая. Очень высокая, выше любого человека. Белая. Она стояла неподвижно, и снег падал на неё и не ложился, а будто проходил сквозь. Фонарь на углу её не освещал, но её было видно, как видно в темноте берёзу или сугроб: она сама слабо светилась, холодным, голубоватым, лунным светом.

Она смотрела на пекарню.

Лука не мог бы сказать, откуда он это знал. У неё не было видно лица. Не было видно глаз. Но он знал, что она смотрит именно сюда, на это окно, на него и на Нюту, и, может быть, на полку, где лежал каравай.

Сердце у него стучало громко, медленно, как молот в кузне.

– Это она, – прошептала Нюта. – Это она. Я её видела. В Ольхах. Тогда.

Лука хотел спросить, когда «тогда». Но фигура шевельнулась. Медленно повернулась, как поворачивается метель, и пошла вниз, к реке, к мосту, и скрылась за склоном. Через мгновение там, где она стояла, был только снег и тёмный силуэт старой липы.

Лука долго стоял у окна. Потом повернулся к Нюте. Она смотрела на него круглыми, светлыми, совсем не испуганными глазами.

– Ты тоже видел?

Он хотел сказать, что ей показалось. Что это была метель, или липа, или фонарь. Что так бывает ночью, когда устанешь. Он открыл рот, чтобы это сказать.

– Видел, – сказал он.

Нюта кивнула и закрыла глаза.

– Завтра отнесём, – сказала она уже почти во сне. – Она ждёт.

Лука вернулся к печи. Сел на табурет. Посмотрел на каравай. До самой длинной ночи оставались одни сутки.

Глава 8. Ночь, когда никто не пришёл

Нюта не хотела оставаться. Она говорила об этом весь день, с утра, когда Лука сказал ей, что вечером они с Агнией уйдут, а она пойдёт ночевать к Матрёне Ивановне. Говорила, когда он продавал хлеб, говорила, когда он кормил Матушку, говорила, когда он укладывал каравай в заплечный короб, выстланный сеном и войлоком, чтобы хлеб не замёрз.

– Я её видела, – говорила она. – Я знаю, какая она. А вы не знаете.

– Ты её видела издалека.

– Я её видела близко. В Ольхах. Я тебе потом расскажу.

– Расскажи сейчас.

Нюта поджимала губы и отворачивалась. Что-то она не хотела говорить, что-то, что держала в себе с самого августа, и Лука не настаивал. Он знал, как это бывает: когда в тебе лежит что-то тяжёлое и ты носишь его, носишь, и не можешь выложить, потому что, если выложишь, оно станет правдой.

– Ты не пойдёшь, – сказал он. – Там мороз. Там ночь. Ты тринадцать дней шла по такому. Хватит.

– А если вы заблудитесь?

– Не заблудимся.

– Заблудитесь. Вы городские.

– Агния не городская. Агния на Полуденном холме выросла.

– Агния печница. Она в трубах не заблудится. А в лесу заблудится.

Агния, пришедшая к сумеркам с лыжами на плече и с котомкой за спиной, услышала последние слова и засмеялась.

– Права девка, – сказала она. – В трубе я как дома, а в лесу как в гостях. Но я с компасом. У меня дед с ним по северу ходил.

Она показала компас: медный, тяжёлый, со стрелкой, которая дрожала, как живая.

Нюта посмотрела на компас без всякого доверия.

– Она стрелки сбивает, – сказала она.

– Кто?

– Она. У нас дядька Фрол с компасом пошёл в августе в город, а вернулся через два дня. Говорил, стрелка крутилась, как бешеная.

Агния перестала смеяться. Посмотрела на компас, на Луку.

– Ну, – сказала она, – значит, по звёздам пойдём.

– Звёзд не будет, – сказала Нюта. – Метель будет. Вон, небо какое.

Небо и правда было какое-то не такое: низкое, желтоватое, тяжёлое, с бурыми подпалинами на севере, как подпаленная корка. Ветра ещё не было, но воздух стоял тугой, ждущий.

Лука присел перед Нютой на корточки.

– Послушай меня, – сказал он. – Ты пришла сюда, чтобы сказать: на севере лето кончилось. Ты сказала. Теперь моя очередь. Я пеку. Это мой хлеб. Бабушка его носила, её мать носила, теперь я понесу. А ты будешь здесь. Если мы утром не вернёмся, ты пойдёшь к отцу Никодиму и скажешь, куда мы ушли. Через северный выгон, через ельник. Поняла?

Нюта смотрела на него долго. Потом спросила:

– А Матушку кто покормит?

– Ты.

– Я?

– Ты. Горсть солнечной, кружка тёплой из ключа, ложка мёда. На закате. Сможешь?

У Нюты сделалось такое лицо, будто ей доверили ключи от царства.

– Смогу, – сказала она.

– Ну вот.

Они ушли, когда совсем стемнело, в шесть вечера. Матрёна Ивановна стояла на крыльце своей чайной, держа Нюту за плечи, и крестила их вслед, пока они не скрылись за поворотом. Нюта не махала. Она просто стояла и смотрела.

Северный выгон начинался за последними домами Заречья, за банями и огородами, и уходил вверх, широкий, пустой, белый. Летом здесь паслось городское стадо, и пастух Ерёма играл на рожке, а сейчас не было ни стада, ни пастуха, ни рожка, только снег, ровный, глубокий, нетронутый. Они встали на лыжи у последнего забора. Агния пошла первой, прокладывая лыжню, Лука за ней, с коробом за спиной. Короб был нетяжёлый, но неудобный, тёр плечи, бил по спине на каждом шагу. Каравай внутри был ещё тёплым, Лука чувствовал это даже сквозь войлок и тулуп.

Шли молча. Снег скрипел под лыжами. Дыхание вырывалось белыми клубами и оседало инеем на воротниках. Город позади становился всё меньше, огни сливались в одно жёлтое пятно, потом пятно скрылось за перегибом выгона, и они остались вдвоём в белой, бескрайней, тихой темноте.

– Ты знаешь, куда идём? – спросила Агния через час.

– На север.

– Это я знаю. А дальше?

– Дед сказал, бабушка ходила через ельник. За ельником – край Пустошей. Там камни.

– Много камней?

– Говорят, много.

– И какой нам нужен?

– Не знаю. Наверно, большой.

Агния остановилась, обернулась. Лицо у неё в темноте было бледным пятном, и только глаза блестели.

– Сеянов, – сказала она. – Ты понимаешь, что мы идём ночью, в метель, на край Пустошей, искать камень, которого никто не видел, чтобы отдать хлеб женщине, которой не бывает?

– Понимаю.

– И ты всё равно идёшь.

– Иду.

Она помолчала. Потом вдруг улыбнулась, Лука это почувствовал, хотя не увидел.

– Ну и хорошо, – сказала она. – Я тоже.

И пошла дальше.

Ельник начался ещё через полчаса. Он встал перед ними внезапно, чёрной стеной, и в нём было ещё темнее, чем на выгоне, и тише, так тихо, что Лука слышал, как стучит у него в висках. Ели стояли густо, огромные, старые, с ветвями, согнутыми до земли под тяжестью снега. Под ними было почти бесснежно, сухо, пахло смолой и прелой хвоей. Агния зажгла фонарь. Маленький круг жёлтого света побежал по стволам, по сугробам, по их следам.

Тут-то и началась метель.

Сначала зашумели верхушки елей. Высоко, далеко, глухо, как шумит река за поворотом. Потом шум стал ближе, громче, и вниз, сквозь ветви, посыпался снег, сначала понемногу, потом сплошной завесой. Потом ветер прорвался вниз, в самый ельник, и ударил им в лица так, что Лука задохнулся. Фонарь замигал. Агния прикрыла его полой тулупа.

– Держись за меня! – крикнула она.

Он держался. Они шли, согнувшись, почти вслепую, по компасу. Стрелка, как и говорила Нюта, дрожала и прыгала, но всё-таки, если подождать, успокаивалась и показывала на север, туда, куда они шли. Агния останавливалась каждые сто шагов, сверялась, шла дальше. Лука шёл за ней, держась за её пояс, и думал только о том, чтобы не отпустить.

Сколько они так шли, он не знал. Может быть, час. Может быть, три. Время в метели стало другим, тугим и вязким. Потом ельник кончился, так же внезапно, как начался, и они вывалились на открытое место. Здесь ветер был сильнее, но снега меньше: его сдувало, и под лыжами чувствовался наст, твёрдый, скользкий, гладкий, как стекло. А впереди, в разрывах метели, в слабом свете фонаря, Лука увидел камни.

Их было много. Серые, большие и маленькие, круглые и угловатые, торчащие из снега, как спины спящих зверей. Они тянулись вправо и влево, сколько хватало глаз, а за ними начиналась пустота, белая, ровная, без единого деревца. Пустоши.

– Ну, – сказала Агния, переводя дух. – Выбирай.

Лука смотрел на камни. Ни один из них не был похож на сторожевой. Ни на одном не было знака. Ни один не стоял отдельно, как стоят межевые столбы. Просто камни, валуны, которые оставил когда-то ледник, как говорил отец Никодим.

– Пойдём вдоль, – сказал он. – Поищем.

Они пошли вдоль. Агния светила фонарём на каждый камень. Лука смотрел. Он искал колосок. Если на кирпиче в печи был колосок, может быть, и на камне есть. Он искал хоть что-нибудь: зарубку, крест, следы. Ничего. Камни были немыми.

Через час они нашли один, который был больше других. Он стоял чуть в стороне от гряды, сам по себе, высотой Луке по плечо, плоский сверху, как стол. Снег на нём не держался, ветер сдувал его.

– Этот? – спросила Агния.

– Не знаю.

– Больше похожего нет.

– Не знаю, – повторил Лука.

Он снял короб, развязал войлок, достал каравай. Хлеб был ещё тёплым. Не горячим, но тёплым, и от него в ледяном воздухе пошёл лёгкий, почти невидимый пар. Лука положил каравай на плоскую вершину камня. Отступил. Агния стояла рядом с фонарём.

Они ждали.

Ветер выл. Снег нёсся мимо, белыми лентами, вокруг камня, вокруг них. Фонарь мигал. Мороз забирался под тулуп, кусал за щёки, за пальцы в рукавицах. Лука смотрел на каравай и ждал, что что-нибудь случится. Что выйдет из метели высокая белая фигура, как вчера ночью у реки. Что метель стихнет. Что камень потеплеет. Что хоть что-нибудь.

Ничего не случилось.

Через час Агния тронула его за плечо.

– Сеянов. Фонарь садится.

– Ещё немного.

– У меня ноги отнимаются.

Он посмотрел на неё. Она стояла, пританцовывая на месте, обхватив себя руками, и даже в темноте было видно, как у неё дрожат губы.

– Ещё немного, – повторил он.

Они ждали ещё. Каравай на камне остывал. Пар от него больше не шёл. Сверху на него налип снег, и тёмно-золотая корка стала белой.

Наконец Лука сказал:

– Пойдём.

– А хлеб?

– Оставим. Может, она потом придёт.

Агния ничего не ответила. Они повернулись и пошли назад, к ельнику. Лука ни разу не обернулся. Ему казалось, что если он обернётся, то увидит, что каравай так и лежит на камне, белый от снега, никому не нужный.

Обратную дорогу он не помнил. Помнил только, что Агния шла впереди, а потом вдруг стала идти позади, и он понял, что теперь она держится за него, а не он за неё. Помнил, что у ельника она упала и долго не могла подняться, и он поднял её и тащил, а она ругалась сквозь зубы. Помнил, что фонарь погас, и они шли без него, по звуку собственных шагов. Помнил, что метель кончилась под утро, разом, будто кто-то закрыл дверь, и над выгоном открылось небо, чёрное, огромное, полное мелких злых звёзд.

Город они увидели уже на рассвете.

А в это время, далеко на севере, на самом краю Пустошей, там, где каменная гряда поворачивает к востоку и где стоит один камень, отдельно от всех, высокий, тонкий, как палец, указывающий в небо, с выбитым на его северной стороне колоском, который давно стёрли ветра, – там стояла Она.

Она пришла сюда, как приходила всегда, в самую длинную ночь. Она пришла с гряды, с белых полей, где не было ничего, кроме снега, и ветра, и тишины. Она шла долго, потому что в этот раз она пришла не с гряды, а с юга, из земель, где искала свой хлеб с самого лета, и не нашла. Она стояла у камня и ждала.

Она помнила, как это бывает. Сначала издалека, из темноты, появляется маленький жёлтый огонёк. Потом слышатся шаги, тихие, человечьи, по снегу. Потом выходит она. Женщина. Всегда женщина, всегда из одного рода, всегда с тем же запахом – дыма, мёда, муки. Каждый раз другая, но всегда одна и та же. Сначала молодая, потом старая, потом снова молодая. Последняя приходила очень долго. Сорок зим. Она была старая, и смешливая, и всегда говорила с ней, как с соседкой: «Ну, здравствуй, голубушка. Замёрзла? На, поешь». И протягивала хлеб.

Хлеб был тёплый. Это было единственное тёплое, что Она знала. Единственное за всю свою долгую, пустую, белую жизнь. Она брала его, и ела, и тепло проходило сквозь неё, как солнечный луч проходит сквозь лёд, и Она видела. Она видела поля в июле, реку, детей у реки, стрижей над рожью, пчёл в липовом цвету. Чужие лета. Чужую жизнь. Она не знала, что это такое. Но после этого хлеба Она могла уйти. Повернуться и уйти за гряду, в свой белый дом, и спать там до следующей осени, и видеть во сне эти поля.

А в этот раз никто не пришёл.

Она ждала всю ночь. Метель, которую Она подняла, чтобы идти быстрее, металась вокруг, как собака, потерявшая хозяина. Огонька не было. Шагов не было. Женщины не было.

Под утро Она поняла, что никто не придёт. И Ей стало так холодно, как не было никогда. Холодно не снаружи, снаружи Ей никогда не бывало холодно. Холодно внутри, там, где раньше, после хлеба, оставалось на целый год маленькое тёплое зерно. Теперь его не было.

Она не могла уйти. Без хлеба Она не помнила дороги. Она повернулась и посмотрела на юг, туда, где за ельником, за выгоном, за рекой лежал маленький город с жёлтыми огнями. Город, откуда всегда приходил хлеб.

Она пошла туда.

Солнце в Медунице в то утро встало как обычно: поздно, низко, красное, огромное, над Полуденным холмом. Оно поднялось, повисело над крышами, осветило снег розовым и золотым. Город проснулся. Люди вышли на улицы, посмотрели на небо и почувствовали, что что-то не так. Солнце светило. Но не грело. Совсем. Ни капли. Его свет был холодным, как свет луны, как свет, отражённый от льда. Матрёна Ивановна, выйдя на крыльцо, подставила ему лицо и долго стояла так, а потом сказала: «Батюшки», и больше ничего.

Лука и Агния пришли в пекарню в девятом часу. Нюта спала на лавке у печи, свернувшись клубком, рядом с котом. Матушка в корчаге была накормлена, Лука увидел свежую муку на краю. Нюта проснулась от скрипа двери, вскочила и посмотрела на них. На их лица. На пустой короб за спиной Луки.

– Не пришла? – спросила она.

– Не знаю, – сказал Лука. – Мы оставили. На камне.

– На каком камне?

– На большом. Плоском.

Нюта смотрела на него. Потом спросила очень тихо:

– А на нём был колосок?

Лука не ответил.

Агния села на лавку, не снимая тулупа, и стала стаскивать валенки. Ноги у неё были белые, с синевой. Нюта, ни слова не говоря, принесла таз с холодной водой и начала растирать ей ступни, как растирала Сеньке. Агния шипела от боли и смотрела в потолок.

– Я ночью сюда пришла, – сказала Нюта, не поднимая головы от Агниных ног. – От Матрёны. Она уснула, а я пришла. Матушку покормить. Ты сказал – на закате, а я на закате забыла, мы с Матрёной пряники пекли. Я в полночь вспомнила и побежала.

– Одна? По улице?

– Тут два дома. – Нюта пожала плечами. – Я покормила. И осталась. А потом…

Она замолчала. Агния перестала шипеть.

– Что потом? – спросил Лука.

– Потом кто-то в окно смотрел.

Нюта кивнула на окно над столом, то самое, у которого они вчера стояли. Лука подошёл. Стекло, как всегда зимой, было покрыто морозными узорами: перья, листья, папоротники, тонкие белые ветки. Но посредине, на уровне его лица, узоры расступались, и в этом месте, на чистом стекле, был отпечаток. Ладонь. Длинная, узкая, с тонкими пальцами, гораздо больше человеческой. Отпечаток был не снаружи и не изнутри, а будто в самом стекле, белый, как изморозь, и от него во все стороны расходились тонкие, острые лучи.

– Я не испугалась, – сказала Нюта. – Ну, испугалась. Немножко. Я под одеяло залезла. А она стояла и смотрела. Долго. Не на меня. На полку. На Матушку.

– Она что-нибудь говорила?

– Нет. Она только дышала. Я слышала. Как ветер в трубе. А потом ушла. Туда, к реке.

Лука провёл пальцами по отпечатку. Стекло было не просто холодным. Оно обжигало, как обжигает железо на морозе, и он отдёрнул руку.

– Во сколько это было? – спросила Агния.

– Не знаю. Часы у вас тикают, а я по ним не умею. Под утро. Темно ещё было.

Под утро, подумал Лука. Когда мы стояли у плоского камня и ждали. Когда метель кончилась, разом, будто кто-то закрыл дверь.

Она не пошла к камню, где лежал наш хлеб, подумал он. Она пошла сюда. Туда, где он пахнет.

Он посмотрел на полку. Корчага с Матушкой стояла на месте. Кирпич с колоском тоже. Но на крышке корчаги, на льняной тесёмке, лежал тонкий налёт инея, которого никогда не бывало в жаркой пекарне, и тесёмка хрустнула, когда он её коснулся.

В это время на площади ударил колокол. Отец Никодим звонил к ранней обедне, как всегда, в одиночку, на колокольне, раскачивая тяжёлый язык. Первый удар прозвучал гулко и чисто. Второй – тоже. А на третьем что-то хрустнуло, громко, страшно, будто сломалась огромная кость. Звук оборвался. Потом был ещё удар, но уже не звон, а глухое, дребезжащее бряканье, как если бы ударили по пустому ведру.

Колокол треснул. От мороза, сказал потом отец Никодим. Металл не выдержал. Такого не было никогда.

Лука стоял у окна и смотрел на площадь, где люди останавливались и поднимали головы к колокольне. Солнце висело над крышами, красное и холодное. Снег блестел. День начал прибывать, как и положено после самой длинной ночи. Но прибывать начал не свет, а холод.

Зима повернула не к весне. Она повернула к себе самой.

Глава 9. Март без капели

Январь в Медунице прошёл тихо, как проходит долгая болезнь, о которой ещё не знают, что она долгая.

Морозы стояли крепкие, но таких морозов город видел немало. Солнце светило холодно, но и это поначалу списывали на зиму: мол, в январе оно всегда такое, бледное, далёкое, словно нарисованное на небе мелом. Люди топили печи, кутались, ходили друг к другу греться, пили сбитень и чай у Матрёны Ивановны, катались с горы на площади, которую так никто и не разобрал после ярмарки. Агния пролежала неделю с обмороженными ногами, ругая всех, кто к ней приходил, а потом встала и снова полезла по трубам, хромая и ругаясь пуще прежнего. Гаврила Сомкин вышел из лазарета без двух пальцев на левой ноге и с новым, розовым, кривоватым носом, и стал знаменитостью: его звали во все дома рассказывать про стену снега и про белую фигуру на опушке, и он рассказывал, каждый раз прибавляя что-нибудь новое.

В феврале стало хуже. Морозы не отпускали ни на день. Птицы, которые обычно зимовали в городе, синицы, снегири, воробьи, начали падать с веток замёрзшими комочками, и дети приносили их в дома, отогревать, и некоторые отогревались, а некоторые нет. Колодцы замерзали до дна, и за водой ходили на реку, к проруби, которую каждое утро прорубали заново. Дрова кончались. Пальчиков издал приказ номер пять, о вырубке Ближней рощи за кладбищем, и рощу вырубили за две недели. Потом приказ номер шесть, о том, чтобы в каждом доме топили только одну печь, а жили все в одной комнате. Люди ворчали, но слушались.

А в марте снег стоял по окна.

Первого марта Лука проснулся, как всегда, в три часа ночи и сразу понял, что дверь не откроется. Он толкнул её плечом, раз, другой. Дверь подалась на ладонь и упёрлась. Снаружи за ночь намело сугроб в человеческий рост. Пришлось вылезать через окно в сенях, с лопатой, и откапывать крыльцо в темноте, при свете фонаря, пока Нюта, проснувшись от стука, сидела на подоконнике в одеяле и давала советы.

– Левее копай. Там вход.

– Я знаю, где вход.

– А копаешь правее.

Он откопал крыльцо к пяти часам. Хлеб в тот день вынули позже, чем надо, уже при солнце, и Лука весь день ходил хмурый, потому что знал: летний хлеб, вынутый не на рассвете, слабее. Но никто не пожаловался. Люди пришли и забрали всё, и ушли, и Лука видел в окно, как они бредут по Калачной, по узким траншеям, прокопанным в сугробах, прижимая к груди свёртки с хлебом, как прижимают младенцев.

Весны не было.

В марте в Медунице всегда начиналась капель. Это знали все, это было вернее любого календаря. Сначала, где-то в первых числах, на солнечной стороне крыш появлялись сосульки, маленькие, тонкие, а через неделю они уже звенели, роняя капли, и по утрам с крыш сползали тяжёлые пласты снега, ухая в сугробы, как пушечные выстрелы. Потом почернели бы дороги, и над рекой встал бы туман, и в одну ночь, всегда неожиданно, всегда в темноте, вскрылся бы лёд на Яси, с грохотом, со стоном, так, что просыпался весь город. А потом прилетели бы скворцы.

В этот март ничего этого не было. Сосульки не появлялись. Крыши стояли под снегом, белые, тяжёлые, и не роняли ни капли. Солнце поднималось всё выше, дни становились всё длиннее, но свет был холодный, ледяной, будто кто-то повесил над городом огромное зеркало, отражающее не солнце, а луну. В полдень, в самые солнечные часы, термометр на крыльце ратуши, который каждое утро проверял Игнатьич, показывал двадцать градусов мороза. По ночам – тридцать.

Сенька каждое утро бегал смотреть на скворечник, который они с отцом повесили ещё прошлой весной на старой берёзе у Гончарного проулка. Скворечник стоял пустой, занесённый снегом. Сенька прибегал в пекарню за горбушкой и говорил, не глядя на Луку:

– Не прилетели.

– Рано ещё, – говорил Лука.

– В прошлом году седьмого прилетели. Я записал.

– Значит, через неделю.

Через неделю Сенька пришёл снова.

– Не прилетели.

На этот раз Лука ничего не сказал.

Люди стали приходить за летним хлебом по-другому. Раньше, в декабре, в январе, они приходили за ним, как приходят за лакомством: чтобы порадоваться, вспомнить лето, согреть детей. Теперь они приходили за ним, как приходят в аптеку. Молча. Быстро. С тем серым, напряжённым выражением лица, какое бывает у людей, когда дома кто-то болен. И правда: в домах начали болеть. Не простудой и не горячкой, к которым город привык. Другим.

Первой заболела старуха Пелагея, та самая, которой отец Никодим носил хлеб. Ей было за девяносто, и она уже два года не вставала, и когда она перестала просить есть и стала целыми днями смотреть в окно, никто не удивился: старость. Но отец Никодим, придя к ней однажды утром, увидел, что на её ресницах лежит иней. В тёплой комнате, у протопленной печи. Иней на ресницах и на седых бровях, и на пушке над верхней губой, и он не таял. А сама Пелагея лежала, улыбаясь, и сказала ему, что ей хорошо, что ей совсем не холодно, что она скоро уснёт и чтобы он не беспокоился.

Отец Никодим прибежал в пекарню. Лука никогда не видел его таким: большой, бородатый, задыхающийся, с безумными глазами.

– Это то, – сказал он. – То, что девчонка говорила. Про брата.

– Инейная хворь, – сказала Нюта от печи.

– Как?

– Мамка так называла. Инейная хворь. От неё тёплым лечат.

Лука отдал отцу Никодиму буханку летнего, последнюю за день, отложенную для себя. Отец Никодим унёс её, как святые дары. Вечером он вернулся.

– Отпустило, – сказал он устало. – Съела ломоть, иней сошёл. Попросила киселя. Рассказывала мне про свою молодость, про то, как она в девках на покос ходила, полтора часа рассказывала, я и не знал, что она так говорить умеет. А потом уснула. Нормально уснула, поживому. – Он помолчал. – До утра хватит?

– Не знаю, – сказал Лука.

Утром у Пелагеи на ресницах снова был иней.

За ней заболели другие. Сначала старики, потом дети. Не все. Но с каждым днём всё больше. Хворь приходила тихо. Человек становился сонным, медленным, переставал мёрзнуть. Выходил на мороз без шапки и не замечал. Садился у окна и смотрел, смотрел, будто видел за стеклом что-то, чего не видели другие. А потом на ресницах появлялся иней. Лекарь Фёдоров, единственный в городе, разводил руками и прописывал горячее питьё, растирания и покой. Горячее питьё помогало на час. Растирания – на полчаса. Летний хлеб помогал на день.

Лука пёк теперь в две смены. Первую – ночью, как всегда, к рассвету. Вторую – днём, к закату, тоже из солнечной муки, хотя бабушка никогда так не делала. Хлеб, вынутый на закате, был слабее рассветного, но всё-таки был. Он спал по три часа в сутки, иногда по два. Нюта помогала ему всё больше. Она уже умела сама формовать маленькие буханки, умела сажать их в печь деревянной лопатой, которая была длиннее её самой, умела по звуку постукивания определить, готов хлеб или нет. Она не жаловалась. Она вставала вместе с ним в три ночи, а когда он говорил ей, чтобы спала, только мотала головой.

– Стёпка тоже так, – говорила она. – Там. Если я не буду печь, кто им испечёт?

Он не спорил.

Однажды, в середине марта, он заметил странное. Маленькие буханки, которые формовала Нюта, действовали на детей дольше, чем его собственные. Это сказала, конечно, Матрёна Ивановна, которая продолжала вести свой учёт, хотя теперь уже не для любопытства, а для дела: она записывала в толстую амбарную книгу, кому, когда и сколько, и до какого часа хватило.

– Митьке Гончарову твоя буханка до четырёх, – сказала она, листая книгу. – А Нютина до семи. Сеньке твоя до трёх, Нютина до шести. Вчера и позавчера так же. Это не случайно, Лукаша. Это три дня подряд.

Лука посмотрел на Нюту. Нюта покраснела до ушей.

– Я ничего такого не делаю, – сказала она. – Я просто приговорку говорю. Твою. И потом ещё говорю, кому.

– Кому?

– Ну. Митьке. Или Сеньке. Или Ксене. Я когда формую, я думаю, кому эта буханка достанется. И говорю: «Это тебе, Митька. Грейся». А что, нельзя?

Лука долго смотрел на неё. Потом на свою тетрадку, лежавшую на полке. «И думай, кому», – было написано там на полях бабушкиной рукой красными чернилами.

– Можно, – сказал он. – Нужно.

С того дня он тоже стал говорить. Не вслух, он стеснялся вслух, а про себя. Формуя каждую буханку, он думал: это Пелагее. Это Гончаровым. Это учительнице, у неё мать хворает. Это Сомкину, у него нога ноет. Это вдове Горшениной. Это отцу Никодиму, он сам не ест, всё раздаёт. Сначала это было трудно: он знал в лицо почти весь город, но не знал, кто что возьмёт. Потом он понял, что это и не важно. Важно было думать о ком-то. О живом человеке, а не о хлебе вообще.

Матрёна Ивановна через неделю сказала, что его хлеб теперь держит до пяти, до шести вечера. Почти как Нютин.

Но мука кончалась.

Шесть мешков, которые Лука привёз от деда Овсея в ноябре, превратились в два. Он сам пересчитал их в кладовой, когда Нюта спала, и долго стоял, держась за косяк. Два мешка. Если печь в две смены, как сейчас, хватит на три недели. Если в одну – на шесть. Если вполовину меньше – на два месяца. Больше солнечной муки не было нигде. Дед Овсей, к которому Лука в феврале сам пробился на лыжах по сугробам, сказал, что всё отдал, что у него в амбаре только обычная рожь, а солнечной не осталось ни зёрнышка, кроме того, что он держит для себя и для посева.

– Если посеять будет где, – добавил он мрачно. – Поле моё под снегом в два аршина. Не сойдёт к маю – сеять не буду. Не сеять – не будет ржи. Не будет ржи, Сеянов, не будет и твоего хлеба. Никакого. Ни летнего, ни зимнего. Вот так.

Лука никому про это не сказал. Ни Матрёне, ни Агнии, ни Нюте. Он просто стал печь меньше. Чуть-чуть. Каждый день по одной буханке. Так, чтобы никто не заметил.

Конечно, все заметили.

Первой заметила Агния. Она зашла через два дня, в обед, как обычно, будто бы проверить печь, сунула руку в устье, постучала по своду, послушала. Потом, не оборачиваясь, сказала:

– Сорок одна.

– Что?

– Буханок на решётках сорок одна. Вчера было сорок две. Позавчера сорок три. А в понедельник сорок четыре. Я по пути считаю. Ты думаешь, я хожу мимо твоего окна просто так?

Лука промолчал. Агния обернулась. На щеке у неё была сажа, как всегда, а глаза были злые.

– Сколько осталось?

– Чего?

– Сеянов. Не надо. Я тебя полгода знаю близко, а двадцать лет издалека. Ты врать не умеешь, у тебя руки начинают тесто мять, даже когда теста нет. Вот как сейчас.

Он посмотрел на свои руки. Они и правда сжимались и разжимались на краю стола, будто подворачивали невидимый ком. Он убрал их за спину.

– Два мешка, – сказал он.

Агния выдохнула сквозь зубы.

– До какого?

– До конца апреля. Если так, как сейчас.

– А потом?

– А потом ничего.

Она подошла к столу, села на край, прямо на мучную пыль, в своих мужских штанах, и долго молчала, глядя в окно на пустую Калачную.

– Почему ты мне не сказал?

– Зачем?

– Затем! – Она стукнула кулаком по столу так, что подпрыгнула миска. – Затем, что я не чужая! Затем, что я тебе печь чиню и ноги ради тебя отморозила на твоих Пустошах, и ты мне хоть это должен – не врать! Ты думаешь, ты один это всё тащишь? Ты один должен? Кто тебе сказал?

– Никто не сказал.

– Вот именно, что никто! Ты сам себе сказал! Ты сидишь тут со своей мукой, как сыч на яйцах, и думаешь, что если ты никому не скажешь, то никто и не испугается. А люди не дураки, Сеянов. Люди видят. Матрёна видит. Никодим видит. Нюта твоя видит, она вчера мне сказала, что ты по ночам в кладовой стоишь и считаешь, а потом ложишься и не спишь. Ты думаешь, ей не страшно?

Лука не ответил. Ему нечего было ответить.

Агния слезла со стола, отряхнула штаны. Злость с неё сошла так же быстро, как пришла.

– Ладно, – сказала она уже тише. – Ладно. Не будем. Только больше не ври. Договорились?

– Договорились.

– И скажи Нюте. Сам скажи. Она тебе не чужая тоже.

Он сказал Нюте в тот же вечер. Нюта выслушала и пожала плечами.

– Я знаю, – сказала она. – Я мешки тоже умею считать. Я не умею по часам, а по мешкам умею. У нас в Ольхах мамка всегда мешки считала, и я с ней. Когда мало, она не говорила. Она просто ела меньше. А я видела.

Через несколько дней, вечером, когда за окном опять мела позёмка, а в пекарне было жарко от печи и тесно от людей, Нюта и Ксеня Пальчикова сидели в пекарне за столом и мастерили скворечник. Ксеня приходила почти каждый день после уроков, гладила Уголька, помогала Нюте и делала вид, что учит уроки, хотя на самом деле больше болтала. Скворечник они делали из старой коробки из-под пряников, которую дала Матрёна Ивановна, клея и толстой бумаги. Агния, зашедшая на огонёк, вырезала им ножом круглое окошко.

– Это для Сеньки, – объяснила Нюта. – У него скворечник старый, скворцы его, может, не узнают. А этот новый. Яркий. Они издалека увидят.

– Они прилетят, – сказала Ксеня уверенно. – Папа говорит, весна всегда приходит. Даже если поздно. Папа говорит, так в губернских отчётах пишут.

– А если не придёт? – спросила Нюта.

Ксеня задумалась. Она была очень похожа на мать с портрета, и сейчас, задумавшись, стала похожа ещё больше.

– Тогда мы её позовём, – сказала она.

– Как?

– Не знаю. Свистульками. Вон у тебя сова. Свистнем – они услышат.

Нюта засмеялась. Агния улыбнулась. Лука, стоявший у печи, смотрел на них и думал о том, что эти две девочки, одна с севера, другая из ратуши, разговаривают о весне так, будто она – подружка, которая просто опаздывает к чаю.

Скворечник они закончили к восьми часам. Он вышел кривой, пёстрый, раскрашенный Нютиными красками в красный, жёлтый и зелёный, с крышей из кусочка бересты и с надписью над окошком, выведенной Ксениной рукой: «Скворцам. Добро пожаловать». Нюта сама отнесла его Сеньке на следующее утро. Сенька с отцом повесили его рядом со старым.

Скворцы не прилетели.

А в ночь на двадцатое марта, в самую глухую пору, Лука проснулся не в три часа, а в два, от холода. Печь была растоплена. Он проверял её перед сном. Но в пекарне было холодно, так, будто кто-то открыл дверь на улицу. Он встал. Дверь была закрыта. Окно тоже. А на стекле, поверх утренних узоров, поверх старого отпечатка ладони, который так и не сошёл с декабря, появился новый. Рядом. Такой же длинный, узкий, с тонкими пальцами. Только теперь пальцы были чуть согнуты, будто тот, кто стоял за окном, хотел постучать и не решился.

Лука подошёл к окну. За стеклом была ночь, снег, пустая Калачная. Никого.

Он стоял так долго. Потом вернулся к печи, подбросил полено, сел на табурет. Уснуть больше не смог.

Утром он сказал об этом только Нюте. Нюта выслушала, кивнула и сказала то, что он и сам уже знал:

– Она приходит каждую ночь. Я слышу. Я просто тебе не говорила.

– Почему?

– Потому что ты и так не спишь.

Он посмотрел на неё. На её светлые глаза, на руки, обсыпанные мукой, на кота, спавшего у неё на коленях.

– Что она хочет? – спросил он.

Нюта долго молчала. Потом сказала:

– Есть. Она хочет есть.

Глава 10. Очередь

Очередь появилась в ночь на двадцать пятое марта и с тех пор больше не уходила.

Лука увидел её в три часа, когда вылез, как обычно, через окно в сенях откапывать крыльцо. Снега за ночь намело немного, по колено, и он откопал дверь быстро. А когда выпрямился и поднял фонарь, то увидел на Калачной людей. Человек двадцать. Они стояли вдоль забора Матрёны Ивановны, в темноте, в тулупах и платках, переминаясь с ноги на ногу, и молчали. Пар от дыхания поднимался над ними одним облаком.

– Вы чего? – спросил Лука.

– За хлебом, – ответил кто-то из темноты. Голос был женский, усталый.

– Так ещё не испечён. Только в шесть будет.

– Мы знаем. Мы подождём.

– На морозе?

– А вчера не хватило, – сказал другой голос, мужской. – Я к восьми пришёл – а уже нету. У меня мать с инеем лежит. Мне надо.

– И мне, – сказал третий. – У меня дочка.

– И мне.

– И мне.

Лука стоял с лопатой в руках и смотрел на них. Он узнавал лица. Учительница, Анна Петровна, в пуховом платке. Кузнец Ерохин, огромный, с бородой, покрытой инеем. Вдова Горшенина. Двое мужиков с лесопилки, которые всегда брали один каравай на двоих. Мать Сеньки. Ещё кто-то. Ещё. Они стояли и смотрели на него так, как смотрят на икону, на которую больше не надеются, но всё равно молятся.

– Идите домой, – сказал он. – Замёрзнете. Я на каждого отложу.

– Ты в прошлый раз тоже говорил, – сказал кузнец, без злобы, просто. – А потом приказчик Сазонова пришёл с корзиной и взял пять. Ты не дал бы – он бы скандал поднял. Ты дал.

Это было правдой. Три дня назад приказчик купца Сазонова, самого богатого человека в Медунице, хозяина двух лавок и лесопилки, пришёл в пекарню в восемь утра, когда хлеба оставалось ещё на десяток человек, и потребовал пять буханок. Лука сказал, что по одной в руки. Приказчик сказал, что у Сазонова пятеро в доме и все с инеем, и что он заплатит втрое. Лука сказал, что дело не в деньгах. Приказчик сказал, что Сазонов поставляет управе дрова и что голова будет недоволен, если в доме у Сазонова кто-нибудь помрёт из-за упрямого пекаря. Лука отдал пять. Не из-за головы. Из-за того, что у Сазонова и вправду было пятеро, и младшему было три года. Но пятеро других в тот день ушли ни с чем.

– Идите в чайную, – сказал Лука. – К Матрёне Ивановне. Там тепло. Я ей скажу.

– Она закрыта, – сказала учительница.

– Откроет.

Он постучал к Матрёне Ивановне. Она открыла сразу, будто не спала, в ночной рубахе, в платке, с лампой в руке, и, увидев на улице людей, всё поняла без слов. Через полчаса в «Самоварном дворе» горели все лампы, гудели два самовара и печь, и двадцать человек сидели за столами, грея руки о кружки с кипятком, а Матрёна Ивановна бегала между ними, наливала, подсыпала сахару, всем, кому надо и кому не надо, и говорила, говорила без умолку, рассказывала новости и сплетни, и кто-то даже засмеялся. Лука вернулся к печи.

К шести утра очередь выросла до шестидесяти человек. Чайная не вмещала всех, и люди стояли на улице, вдоль забора, вдоль всей Калачной, до самого угла. Лука вынул хлеб и посмотрел на решётки. Сорок буханок. Сорок. На шестьдесят человек. И это только те, кто пришёл первыми.

Он открыл дверь. Первой вошла учительница. Он дал ей буханку. Она ушла. Вторым – кузнец. Третьей – вдова Горшенина. Четвёртой – мать Сеньки. Люди входили по одному, брали хлеб и уходили, и Лука видел в окно, как растёт и не уменьшается хвост очереди на улице. На двадцатом человеке он понял, что не хватит. На тридцатом понял, что на улице ещё человек сорок. На тридцать пятом в дверь протиснулся приказчик Сазонова.

Это был невысокий, юркий, остроносый человек лет сорока в хорошей шубе. Его звали Порфирий, и в городе его не любили, потому что он был из тех, кто всегда знает, кому поклониться, а на кого прикрикнуть. Он протолкался вперёд, мимо женщины с ребёнком, которая стояла следующей, и положил на прилавок серебряный рубль.

– Пять, – сказал он. – Хозяин велел.

– По одной в руки, – сказал Лука.

– В прошлый раз дал пять.

– В прошлый раз было больше. Сейчас по одной.

– Так у хозяина пятеро.

– У всех кто-то.

Порфирий наклонился над прилавком, понизил голос.

– Сеянов, ты не понимаешь. Хозяин мой может сделать так, что у тебя дров не будет. Ни полена. Вся лесопилка его. Ты чем печь топить станешь? Своими портками?

За его спиной кто-то охнул. Женщина с ребёнком, которую он оттолкнул, смотрела на Луку большими испуганными глазами.

Лука молчал. Он смотрел на рубль на прилавке. Он думал о том, что Порфирий прав: дрова у него от Сазонова, и если Сазонов перестанет их возить, через неделю печь погаснет. Он думал о младшем сыне Сазонова, которому три года и у которого на ресницах иней. Он думал о женщине с ребёнком за спиной Порфирия.

– Одну, – сказал он.

– Пять.

– Одну.

– Я тебе сказал…

Он не успел договорить. Сзади, из очереди, раздался рёв. Кузнец Ерохин, который давно уже взял свою буханку, но не ушёл, а стоял у двери, наблюдая, шагнул вперёд и взял Порфирия за воротник шубы одной рукой. Просто взял и поднял, как поднимают кота за шкирку.

– Ты, – сказал кузнец, – сейчас пойдёшь в конец. Понял?

Порфирий забился в его руке, как рыба.

– Пусти! Ты знаешь, чей я? Ты знаешь, кто мой хозяин? Я голове пожалуюсь!

– Жалуйся, – сказал кузнец. – Хоть губернатору.

И тут началось. Кто-то из очереди на улице, услышав крик, рванулся вперёд. Кто-то другой закричал, что лезут без очереди. Кто-то толкнул кого-то, кто-то упал в сугроб. Женщина с ребёнком прижалась к стене, закрывая сына руками. Мужики с лесопилки, которые всегда брали один каравай на двоих, сцепились с кем-то у крыльца. Кто-то кричал: «Хлеба! Хлеба давай!», кто-то: «Порфирия бей!», кто-то просто кричал, без слов. Решётку с буханками у окна задели, она качнулась, и три буханки упали на пол, в мучную пыль, под ноги.

Нюта, стоявшая у печи, закричала. Лука никогда не слышал, чтобы она кричала. Это был не крик даже, а визг, пронзительный, высокий, такой, что все в пекарне на мгновение замерли.

И в эту тишину Лука сказал:

– Стойте.

Он сказал это негромко. Но все услышали.

Он взял со стола хлебный нож. Большой, широкий, бабушкин, с костяной ручкой. Поднял с пола одну из упавших буханок, обтёр её о фартук. Положил на стол. И начал резать.

Он резал тонко. Тоньше, чем когда-либо резал хлеб. Так тонко, что сквозь ломоть можно было увидеть свет лампы. Из одной буханки вышло двадцать ломтей. Он отложил их в сторону, на чистое полотенце, и взял следующую. Люди смотрели на него молча. Кузнец всё ещё держал Порфирия за воротник, но уже не поднимал, а просто держал.

Когда он нарезал пять буханок, на полотенце лежала гора тонких, почти прозрачных ломтей.

– Каждому, – сказал Лука. – Каждому по одному. Всем. Кто в очереди. Кто на улице. Кто ещё придёт. Не по буханке. По ломтю.

– Так это ж на час, – сказал кто-то из очереди. – Ломтя-то.

– Может, на час, – сказал Лука. – А может, на больше. Не знаю. Но всем. Не так, чтоб одним до вечера, а другим ничего. А так, чтоб всем немножко. – Он положил нож. – Я больше не знаю как. У меня мало муки. Если я буду по буханке, через месяц ничего не будет. Ни у кого. А по ломтю – будет дольше. Может, весна придёт.

Он ждал, что люди закричат. Что скажут: мне надо, у меня мать, у меня дочь. Он ждал этого, и был готов, и не знал, что тогда будет делать.

Никто не закричал.

Учительница, Анна Петровна, которая ещё стояла у двери со своей буханкой, подошла к прилавку и положила свою буханку на полотенце.

– Режь и её, – сказала она.

Лука посмотрел на неё.

– У вас мать.

– У всех кто-то, – сказала она его же словами. – Ломоть ей, ломоть мне. Остальное другим.

За ней подошла вдова Горшенина. Положила свою. За ней мать Сеньки. За ней кузнец Ерохин, отпустивший наконец Порфирия, положил свою, большую, и сказал: «Режь». Мужики с лесопилки переглянулись и положили свою, одну на двоих.

Лука резал. Нюта, утерев слёзы, встала рядом с ним и раскладывала ломти по полотенцам. Матрёна Ивановна, прибежавшая на шум из чайной, взяла полотенце с ломтями и пошла с ним по очереди на улице, раздавая каждому в руки, и приговаривала: «Ешь сразу, не неси, сразу, тогда лучше греет», хотя Лука ей такого никогда не говорил. Люди брали ломти. Ели тут же, на морозе. Закрывали глаза.

Порфирий стоял в углу, одёргивая помятую шубу. Лука подошёл к нему, отрезал от последней буханки пять тонких ломтей, завернул в бумагу и протянул.

– Хозяину, – сказал он. – Пятеро – пять ломтей. Скажи ему, что так теперь всем. Если он мне дров не даст – скажи ему, что тогда не будет и ломтей. Никому. И его детям тоже.

Порфирий взял свёрток. Посмотрел на Луку долгим взглядом, в котором была злость, и стыд, и ещё что-то, может быть, страх. Потом молча вышел.

К девяти утра ломти получили все. Сто сорок два человека, сосчитала Матрёна Ивановна в своей амбарной книге. Из двадцати буханок. Остальные двадцать Лука, по общему согласию, отправил с Нютой и Ксеней, которая прибежала к тому времени, в лазарет к лекарю Фёдорову, для тех, кто лежал с инеем и не мог прийти сам. Там их тоже резали. Тонко.

Вечером Матрёна Ивановна постучала в окно. Она была бледная, усталая, но глаза горели.

– Лукаша. До двух. Ломтя хватает до двух. У всех. Я обошла, кого могла. До двух, а у кого и до трёх. Это не до вечера, конечно. Но до двух. От ломтя, сквозь который свет видно.

Лука смотрел на неё и не понимал.

– Как? – спросил он. – Это же меньше в двадцать раз.

– А вот так. – Матрёна Ивановна пожала плечами. – Сама не знаю как. Может, оттого, что все вместе. Анна Петровна сказала, что, когда ела, думала не о себе, а о том, что вся очередь сейчас ест то же самое. И ей теплее стало. Так и сказала.

Она ушла. Лука долго сидел у печи.

На следующий день Матрёна Ивановна открыла чайную в три часа ночи и больше её не закрывала. «Самоварный двор» стал обогревальней. Туда шли все, кто стоял в очереди, и все, кому дома было холодно, и все, у кого кончились дрова. Самоваров стало пять: соседи принесли свои. На столах стояли миски с горячей кашей, которую варили по очереди женщины с Калачной. Матрёна Ивановна распоряжалась всем этим, как генерал, и ни разу за весь день не присела. Отец Никодим приходил по вечерам и читал вслух старую книгу про путешествия в жаркие страны, и люди слушали, затаив дыхание, про пальмы, верблюдов и песок, который обжигает ноги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.